

Ретро в сундуке

Повесть

1. Зачин

— ...ПОТОМУ ЧТО он не любил меня, потому что он пил и не мог... А я же молодая была, а я же женщина... Да, а что тут такого, и на курорты одна ездила, ему же не до меня было, у него там водка, у него там футбол, баня, рыбалка, а или вообще по несколько дней не было... потому что не любил меня. А ты!.. Вот ты молчишь?.. Рыба! Всю жизнь мне... тоже блин, «сыначка», «сына» у неё всё, а на меня болт с резьбой, ага? Не так, что ли? Этот вот, перед свадьбой нажрался, смотреть противно, не то что всю жизнь под одной крышей, как говорится... А ты? Что мне тогда сказала, что? А? Молчишь? А тогда не молчала, а тогда столы, мол, Надечка, заказаны, деньги, мол, Надечка, уплоочены... да что там говорить...

— Кто же знал, Надя, кто знал, я же как лучше.

— Да тебе насрать было, так и скажи! «Лучше», она видетели «как лу-учше».

— ... — она сжала губы и виновато вжалась в кресло. Анна Фадеевна.

— Жила тут в трёхкомнатной, в сады разъезжала, помидоры у неё... теплицу открыть, теплицу закрыть, заморозки... А то, что дочь побитая там... тааам! Что дочь жизни не рада... Ну конечно, тебе же хрен по деревне, у тебя же «сына»! А щас вот как заговорила, «как лучше», «как лучше», «кто же знал, Надя»... Да ты всю жизнь была эгоисткой, лишь бы тебе комфортно, а то что дочь... а-а, да что там говорить, — махнула рукой, замолчала. Надя, дочь Анны Фадеевны.

Анна Фадеевна в красном фланелевом халате, с перевязанным коленом, под бинтом трещит что-то вроде моторчика. У неё больные ноги. Однажды, когда она была маленькая (а это было очень давно), все дети и женщины в деревнях чуть ли не вплоть до поздней осени ходили босиком — с обувью было туго.

«...На папу я всё-таки обижена, хоть он меня и любил больше братьев. Тех, то и побить мог, а меня — ни в жизнь. Водополица-то началась, а мне и одеть на ноги нечо, мама сукна хорошего продала, мне на сапоги, на хромовые, а от деревни до Катайска 15 километров, а от того ещё до Свердловска хрен знает сколько чесать, папа решил сам съездить, якобы чтоб мне ноги не простужать, и тэ-дэ, и тэ-пэ... В общем, к любовнице своей Лушке-прошмандовке решил съездить.

Ну чего... и закутил наш папа-то... Вечер — бати нет, на следующий день с утра ждём-ждём — нет его. Пошла я к тётке в Катайск, думаю — у неё. Дошла кое-как, сапоги-то на ладан, ветошь. Бати и там нет. Осталась я у тётки ночевать. А к вечеру явился батя, привёз — „вот тебе, Нюра, сапоги“. Я обрадовалась, красивые такие, вроде кожа. Пошли мы домой-то из Катайска, а водополица эта, я иду, а они хлюп-хлюп, насквозь, глянула вниз — а краска-то, чёрная, потекла — вот тебе на! Дерьмо сапоги! Я говорю „смотри бать, сапоги-то вон чё“...

Мать ему потом такую взбучку устроила. Он-то деньги те на бабу да на вино промотал, а сапоги купил у знакомого, там же в Катайске, в Свердловск и не ездил... Я тогда так простыла... ой, еле отходили. В молодости всё кажется так, рукой махнуть, плюнуть, оно и рассосётся, а к старости во (показала на колено „с моторчиком“) все болячки всплывают... чего? Моторчик? Да это такая штуковина с магнитиком, говорят, помогает, хотя уж полгода ношу, а толку...»

Анна Фадеевна поправила бинт на перевязанной ноге, поправила воротничок фланелевого халата, посмотрела на окно, потолок, в угол — бывше-женское при лёгком волнении.

Анна Фадеевна живёт в трёхкомнатной хрущёвке с дочерью Надей, с Надиным сыном-алкоголиком, а также Надиным бывшим мужем и бывшим алкоголиком Витей.

С утра она смотрит сериалы, потом гуляет во дворе и близлежащем парке, «если здоровье и погода», вечером ужинает кефиром с батоном и пьёт «сердечные» таблетки — так надо теперь всегда.

В квартире скудно, обои древние — с конца восьмидесятых, какие-то старые, пыльные, когда-то прибалтийские-добротные ковры на стенах, в «большой» комнате стоит большая стенка, саморучно сделанная мужем Анны Фадеевны, когда тот ещё не был болен, когда ещё был жив всюю.

— Я ведь, Надя, думала, что образуется у вас, и ведь ты же сама его выбрала... мне он сразу не понравился, придёт вечером, встанет в дверях, Надю, мол, можна, спрашивает, а сам, гляжу, пьянёхонек...

— Вот не надо, мам, вот не надо, Витя тогда совсем почти не пил, стала бы я с ним, если б... это уже пото-ом.

— Ну что теперь, Надь, вспять-то не повернёшь, что теперь, ну и я виновата, конечно... тоже, блин, если б знала!.. да что теперь!

Наде около шестидесяти. Она в тёмно-красных шерстяных гетрах, обтягивающих толстые ноги, поясница перевязана шалью — сквозняки, на голове какое-то подобие волос, вернее, то, что от них осталось, — она больна гипотиреозом, который разрушает её медленно и верно, и даже мозг, потому и её частые вспышки гнева всё чаще. Лицо у неё большое, круглое, с аккуратно выщипанными бровями, когда-то привлекательное. Она подстригает ногти на ногах и складывает их на кровать рядом с собою.

— Ну, мам, ну вот скажи честно, — продолжая подстригать ногти, как будто бы всё равно. — Тебе и на сыну своего тоже насрать было? Размен-то ты ему не давала, когда вместе здесь жили, когда здоровая была... как лошадь, у тебя только сад, сад, сад! Как лошадь! Понятно, только тебе бы уютно... и бабу Дусю в дом престарелых отдала, лишь бы тебе... а когда прихватило сердечко-то, сразу «сына», и ко мне забегала, сопереживала, ну-ну, как бы ни так...

Анна Фадеевна поджала губы — ей больно это слушать, но она привыкла уже отмалчиваться. А когда Надя совсем изводила, Анна Фадеевна уходила на улицу, и из последних сил бродила, и из последних сил была собой. Она бы пошла к Толе, сыну, но его жена недолюбливает её, а сам же Толя, одержимый манией справедливости, всё время напоминает матери, что «если б она не прописала их к себе, ничего бы этого не было», если бы... Но не было выбора, всё-таки дочь, всё-таки внук, так объясняла себе. Была у Анны Фадеевны хорошая подруга Фрося Лейкина, но у той своих проблем по горло — муж по старости чудить начал, то чайником бельё гладит, то в унитазе руки моет, да ещё и матом её кроет беспричинно, ежедневно.

Вообще у Анны Фадеевны было много подруг, и на заводе её до сих пор помнили, и её бригада исправно навещала. Ученики, цеховые, совсем молоденькие, всего-то сорок лет ещё! Но чтобы сор из избы... вот и мучилась на жаре, на морозе, переживая эти бесконечные семейные стихии в одиночестве.

Как-то во время очередной ругани, не выдержав:

— Хоть и дочь ты, Надька, а вся в свекровь! От той сбежали из Эстонии, а ты, дочка, копия выросла... тут уж не сбежишь никуда, да и некуда... А папа в чём-то и прав был, отговаривал, не пара, мол, тебе, Нюра, этот Степан. Не послушала, дура была, сейчас бы не маялась сейчас бы...

— Во-от, во-от! — почти визг. — Открылась твоя сучность-то вся, а я «мама», «мамочка»... с детства как отрезанный ломоть, всё меня по бабкам пихала, всё куда-то сплавить хотела... А я всё «к маме, мама, мамочка», друзей только заведу, а летом опять меня в деревню, безвыездно, как в ссылку!

— А что деревня? Да как же тебе, Надь, обижаться-то? Тебе! На вечерней я училась, работала, времени не было, спала по четыре часа, да и что тебе летом-то одинёхонькой в городе, в духоте-то в этой просиживать... А в деревне и под присмотром, и воздух тебе, и сливки, и молоко парное, и овощи с грядки, витамины сплошные, куры, пасека своя, речка рядом, доченька ты моя, грех тебе на мать так, я старалась, и благодарности я у тебя не требую...

— Нет, а я поблагодарю тебя, что же так... спасибо мама, спасибо за наше счастливое детство, как говорится.

— Вот умру, спохватишься, а поздно будет! — сказала, как отрезала, рукой махнула и дверью хлопнула.

2. Нюра

ЛЕТНИЙ ДОМИК, в котором много банок с мёдом, что-то сушится, веники какие-то. Чисто. Нюра с папой. Фадей Матвеевич разливает по банкам мёд, прощальный мёд — осень.

— Не пара он, Нюра, не-пара-он-тебе, этот Степан... При таком раскладе надо прежде всего на родню смотреть, какие родственники, такой и он станет со временем, а Зыряновы эти... э-э... едрит твою налево, ну вот, разлил. — Мёд бежит по банке на стол, а Фадей Матвеевич ложкой собирает пролитое. — А ведь у нас их в деревне все недолюбливают, себе на уме всегда, и ведь уж сколько лет прошло, как они из этой Течи своей приехали, а ни с кем дружбу-то не водят, всё особняком живут... в общем, одно скажу, Нюра, недобрые это люди, а может, где-то и нечестные, такое моё мнение... а в общем, смотри сама, сейчас времена не те, мы тебя с матерью не неволим, тебе с ним жить, не нам.

Нюра облизывает медовые пальцы и безучастно наблюдает за вознёй отца.

Медведевских в Корюкове уважали. Глава семейства, Фадей Матвеевич, прошёл гражданскую, получил орден Красного Знамени, позже возглавлял отряд по раскулачиванию. А во время Великой Отечественной был начальником поезда от Свердловска дотуда, где наши воюют, то есть до некой непостоянной точки N. После

войны он был председателем колхоза, заготовителем, и имел свою пасеку за Тукмановой горой. Кстати сказать, никто в Корюкове не знал, отчего, собственно, эта гора называлась Тукмановой. И вообще место это было похоже скорее на курган, нежели на гору. Что же касается Тукмана, то иногда так называли буран или человека. Вообще, то ли там зимою бураны непроходимые были, то ли хан какой золотордынский в древние времена землю эту собой увековечил — неизвестно.

А дом у Медведевских был один из лучших домов в Корюкове. Раньше в этом доме жило довольно себе зажиточное семейство Коровиных, и с началом раскулачивания глава семейства был первым кандидатом на арест. Фадей Матвеевич, состоявший тогда в этих самых отрядах, зная о запланированном аресте, предупредил Коровина. И не то что бы они с ним были в очень хороших отношениях, жалеючи видимо. В общем, Коровины быстро уехали из Корюкова, так, что никто даже не видел возни с чемоданами. Просто наутро, когда в дом Коровиных нагрянул отряд раскулачивателей, никого из жильцов обнаружено не было. Дом был пуст.

В партии Фадей Матвеевич состоял на особом очень почётном счету, да и семья у него была немаленькая, дом Коровинский решено было отдать Медведевским.

— Коль, а Коль... Эх, фу ты, не выходит... Коль!

— Ну что там у тебя, Нюр? — он вытер руки и подсел к маленькой сестре. Коля.

— Да вот... нам к завтрашнему задали вазу нарисовать с цветочками... — Нюра показывает неудавшийся рисунок. — А у меня не получается, я не знаю что...

— И всего-то? Вазу с цветочками? А кто задал?

— Зинаида Ивановна...

— Зинка, что ли? Ну-у, Зинка! Мучает вас малюток чепухой этой... Давай сюда, нарисую ей... Чего она, вазу с цветочками хочет? Будет ей ваза с цветочками!

Коля вмиг нарисовал и вазу, и цветочки, мелкие такие, незабудки. Нюре бы так не нарисовать. Полна восхищения старшим братом, а незабудки точь-в-точь как у неё на платье.

Это был конец весны тридцать седьмого. Коля, старший сын Медведевских, приехал на каникулы. Он отучился первый курс в Свердловской лётной школе и приехал немного другим. Конечно же взрослее или, по крайней мере, взрослящийся. И с маленькой Нюрой общался

по-взрослому учтиво, отчего та немного смущалась. Но такой он был только в первые дни по приезду, потом же забывался, и снова становился прежним, и даже сам смеялся над своей напускной бравадой.

Нюре нравилось учиться в школе. Нравился деревянный паркет, специфический запах мела и пыли у доски, нравился вид из окна на главную улицу конечно-же-Ленина, плавно перетекающую в берег Катайки, и даже портреты вождей на зелёных стенах были милы и приятны, и Сталин улыбался так по-свойски, так по-домашнему уютно.

Все Нюрины одноклассники были её соседями, да и как иначе в деревне. Все были шумные, как обычно, жадные до неизведанного и окружающего их мира, который ведь только зарождается! Ведь правда, он только зарождается?

Большая часть класса, в том числе и сама Нюра, в весенне-осеннее время на занятия бегали босиком, а в школе надевали свои единственные, так бережёные туфли, какая уж там сменная обувь! Но всё это не омрачало радостей детства, всё это казалось в порядке вещей, потому что большинство было в одинаковом положении. Нищие, которые думают, что так и надо, которые и не знают иного, что может быть забавнее? И Сталин улыбается так по-свойски...

На это занятие Зинаида Ивановна попросила всех принести чернила, дети были в восторге.

— Как взрослые, прописью и чернилами, да, Нюр? Мы такие молодцы! — сказала Муся и поставила большую кляксу.

Нюра захохотала.

— И чего ты ржёшь, лошадина, и чего ты... Нюр, прекрати, а то поссоримся!

— Да уж, Мусь, ты-то точно... молодец!

— Ой-ой-ой, а ты дак вся ладная чё, ли?

— А хотя бы и так! Гляди вот, ни одной кляксы.

— А пошто тада вазу сама не нарисовала?..

— Тише ты, Муська!

Муся была Нюре той самой тамарой, в смысле неразлучности. Она была старше Нюры на год, но этого было совсем незаметно. Они постоянно задирали друг дружку, и скорее всего это нравилось обоим. Отца у Муси не было, вернее, где-то он, может, и был, только не в её жизни. А жила она с мамой, бабушкой и дедом. И почему-то никто никогда не называл её Машей, Марьей или на худой конец Марусей, обычно Маней или же Мусей. После школы под-

руги обычно бежали к единственному клубу, белое-пребелое здание, похожее на здание сельпо, только без флажка над козырьком. Туда бывало привозили фильмы. О, как же ждали их Нюра с Мусей! А уж как ждали Любовь Орлову! Ну что может быть уморительнее «Весёлых ребят»? А какая она в «Цирке»! У такой-то уж точно есть сменная обувь. Да у неё не может чего-то не быть, она же Любовь Орлова!

— Не расстраивайся, Мань, это всегда, первый раз почти у всех кляксы выходят, — Зинаида Ивановна. — А у тебя, Нюр, очень даже хорошо получается... — пауза-пауза, — рисунок-то ведь не ты рисовала, Нюр, скажи честно? Коля, ведь да? ведь Коля рисовал?

— Ну да...

— Ну, пять, привет ему, — заговорщически смотрит: — Слушай, Нюра, а давно приехал?

— Дня два назад.

— Два дня назад, — полущёпотом.

— А чего, Зинаида Ивановна, передать что?

— Нет-нет, ничего... — смущённая, ушла к своему столу и руку от пуговицы на ситцевой блузке так и не убрала, Зинаида Ивановна. Зинаида Ивановна? Ну, нет, ну не правда, ну Зина ведь! Только-только из педучилища, учительница начальных классов, и ей, к сожалению, двенадцать лет, оттого насмешкой кажется ей эта «Зинаида Ивановна». Ведь всего только год назад, в такую же вот весну, в такой же вот май, не дождливый и даже купались уже в Катайке — так тепло было, она приехала с красным дипломом домой, в Корюково. И Коля был ей так рад, был ей так близко, и она сама же убедилась в том, что он сможет поступить в Свердловск. А Нюра звала её просто Зиной, и они вместе ходили на речку.

Коля поступил, и до зимы всё вроде ничего, писал, когда приезжал — сразу Зину навестить. А потом приехал, и ни слова не вытянуть. На танцы пошли, а он всё мимо глядит. И тогда уже всё было понятно, и тогда уже, но только не ей...

— Нюр, погоди, — позвала, когда ученики уже расходились. — Слышь чего, ты так ему передай, что Зина, мол, сказала, если хочет, пусть в клуб завтра приходит, там пластинки новые появились, и... ну вот так. Поняла?

— Поняла, Зинаида Ивановна... Ну... я это... я пошла?

— Да, Нюр, иди... Хотя... нет, не говори ему про пластинки... это лишнее про пластинки, лучше скажи — если хочет, пусть приходит... в клуб. Вот так...

— Колька, жадина, жадина-говядина!

— Ну-ка положи баян на место! Он ведь больше тебя, уронишь... Ох, я тебя гада мелкого сейчас поймаю... пойма-аю... ух не пожалею твоих худосочных костяшек!

Но мальчишка не унимался и не давался Коле, так они бегали вокруг стола. Девятнадцатилетний детина и его десятилетний брат.

— А-ну, Толяй, а-ну положи на место, кому сказал! — вошёл Фадей Матвеевич. Только что с дороги, начальник поезда, он уже привык к быстрой смене часовых поясов и мест, три дня его не было дома, потому и не встречал Николая. — Так вот, давно твоя задница ремня не знала, Толяй.

Коля одобряюще закивал.

— И твоя, Колька, тоже, между делом, — он слегка шлёпнул Толяя по мягкому месту, а тот показал язык, вроде как «сначала догони», и отбежал в сторону. — Паразит, — без злобы, констатирующе. Фадей отметил изменившиеся черты Колиного лица и тела, так за какие-то полгода молодой организм может настолько измениться и возмужать.

— Ну, здравствуй, Колька, — после небольшой паузы, — иди, обнимемся, чтоль, — с Колей уже по-взрослому, уважительно к нему, а Толяй не при делах, малявка, сел возле баяна и ногти грызёт.

— Ну что, сынок, как ты там без нас был? Изменился, вон какой теперь... фамилии-то не срамишь?

— Никак нет, товарищ батя, учусь, служу, стараюсь, кормят хорошо, пока всё нравится, — руку вперёд — честь честью, ногами притопнув, смеётся всюю.

— Ты брат, смотри, «пока», что значит «пока нравится», ты в люди уж выходишь, не каждому в жизни такой вот шанс выпадает, из деревни-то, да ещё и летать потом будешь! Ладно, ты у меня лобастый, да и вон какой вымахал, сам уж всё знаешь... Вот, Толяй, гляди, будешь хорошо учиться, тоже на самолётах пойдёшь летать... Ну чё притих-то? А, Толяй? Обиделся?.. А я вам привёз чего...

Толяй встрепенулся, плечи расправил, весь внимание, в отца всматривается, будто предполагая, в каком кармане у него может таиться сюрприз.

— Беги уж во двор, там-то он.

Во дворике, звонкая, бегала Нюра, с расчёпанными волосами и какой-то тряпкой в руках, а рядом с ней бегал неуклюжий чёрный щенок. Ньюфаундленд, водолаз по-русски. Он косячил и азартно следил за тряпкой в руках

Нюры, потом выжидал момента и со всей дури кидался на тряпку, вцеплялся в неё своими молочными зубёшками, и, серьёзно рыча, мотая головой, он никак не настроен был сдаваться.

Сердце Толяя учащённо забилось, и он, захлабываясь обрывками восторженных слов, побежал к собаке.

— Фингал, слышь, Толька, Фингал! — крикнул с крыльца Фадей.

— Чего фингал? — не понял Толяй.

— Зовут его так, — пояснила Нюра.

— Почему ещё?

— Так назвали, — осведомлённая. — Его из Германии вёз один дядька, он-то и имя ему дал, а потом этот дядька Фингала папе подарил. Вот так вот.

— Значит, он немец у нас? — крикнул Коля и подозвал щенка к себе. — Ну-у, пап, этот большой вырастет, Мизюрку нашу слопаёт, да мало будет.

— Ну, Мизюрку мы ему не дадим, а кормить найдём чем, на охоту будем вместе ходить, это порода, сказали, умная, в меру агрессивная, то, что надо в общем.

3. Песни

К ВЕЧЕРУ ПРИШЛИ гости, брат Прасковьи с женою, сестра, сёстры Фадеевы, и ещё много разных людей.

«А по праздникам, ух, как пели мама-то с папой! Песню как затянут, так аж свечи гасли, голосина какой был. Да в общем-то все музыкальные были. Толя всё Николаю завидовал, ну, тоже на баяне хотел играть... И не помню я почему, а так и не было у него баяна, то ли не достать, шут его знает... на гармошке зато играл. Но это потом, повзросл уж когда. Сядет так на завалинке, мы бегаем-гуляем, а он наяривает, особенно эту всё, — Анна Фадеевна пытается напеть: — „Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силёнку, и крепко же, братцы, в селенье одном, любил я в ту пору девчонку“, а ещё вот ту, это... как её... щас... „Для кого весна отрадная, а для меня отрады нет...“ — пытается, выводит на полуулыбке, но связки старые — голос дребезжит. — А раньше-то ведь я тоже неплохо пела, а ща-ас! — рукой махнула. — Но петь люблю, это уж люблю... а маме вот очень нравилась эта... как её... (напевает) „Живёт моя отрада в далёком терему, а в терем тот высокий нет ходу никому...“».

— Живё-от моя отрада, в даль-оком терь-ему, а в терь-ем тот высокий нет ходу никому, я

зна-йю, у красотки есть сто-оруж у крыльца, никто не загородит, дарогу молодца, — озорная, курносая, сине-синеглазая, волосы забраны гребнем назад, платье «навыход», такое тёмно-красное или вишнёвое, с поясом широким, воротничёк отложной кружевной, беленький. Сама поёт, сама пританцовывает, а Коля матери на баяне подыгрывает.

Запыхалась, уморилась, Коле на плечи руки положила:

— И душа на месте, все теперь дома, Коля дома.

— Mam, ты садись, отдохни... Ну, вы сёдня с папой дали жару, аж свечи потухли!

— Да мы ещё не то можем, правда, мать? — Фадей. Раскрасневшийся немного от выпитого, довольный.

— В артистки тебе надо, мам, было, — смеётся Коля.

— Ага, точно, в артистки, Русланову бы затмила, как пить дать! — Фадей.

— Пап, но я серьёзно!

— А что... я тоже сурьёзно!

— Да ну вас в баню!

«Ну скока нас человек: мама, папа, баба Мария, я, Толя, Коля, Люба тогда уже с нами не жила, в Свердловск уехала... тётя Дуся подолгу жила в гостях... ну да, потом-то совсем перебралась, но это после войны... то... ну да, после...А так родственников у нас в деревне у-у много было, мамини братья-сёстры да папных две сестры... больше у папы там вроде никого не было, брат Зотяй сгорел при пожаре ещё в двадцать девятом. Я-то не помню, мне тогда от роду несколько месяцев было, восемь, что ли. Мама часто рассказывала. Лето сухое выдалось, ну и леса гореть начали, а в тот день у нас праздник был какой-то, и все напильсь, прилично так напильсь, ну, хорошенько, в смысле. А пожар на дома и перешёл, щепка за щепку, дома-то все рубленные, брёвна сухие, горят легко».

— А брёвна сухие, горят легко, что делать... и Фадя, как нарочно, ни бе ни ме...

— Ты, мать, выражения-то подбирай, слышь? — жёстко, Фадей, всегда следил за женою.

— Да молчи уже... в общем, выпивший был, а Зотик-то тот совсем ошалел, когда дом его загорелся, кричит: палатья, мол, новые... дались ему эти палатья... Отец ваш вон тоже хотел бежать, я говорю: ну что ты оттуда вынесешь-то? Не пустила. А Зотик, тот сгорел заживо. Потом на наш дом огонь перекинулся, Толя в садике был,

а тебя, Нюра, можно сказать, Коля спас. Помнишь, Коля?

— Ну-у, так перепугался тогда

— Ему-то восемь лет было, герою-то. Про тулуп помнишь?

— Ну как же, мам... всё помню... Я, Нюр, тебя схватил, мама-то наказала нам с тобой в лес бежать, туда, где пожара нет, а во дворе у нас вещей валялося, мама в горячке повыкидывала всё ценное из дому-то. Я гляжу — тулуп новый, заячий, ну и схватил его заодно. В общем, отбежал от дому с тобой да с тулупом этим на несколько метров, чую, сил больше нет, и встал тогда вопрос, Нюра, либо ты, либо тулуп. Ты спросишь: и что же я выбрал? Конечно, тулуп! Конечно, шучу. Я пацан смышлённый был, положил тулуп, взял тебя, Нюра, отбежал на несколько метров, потом вернулся за тулупом, взял его, потом оттащил его ещё на несколько метров, вернулся за тобой, вот так вот, переключая вас с тулупом, я дотащился-таки до леса и спас тебя и тулуп.

— А я тем временем вещи все ценные из дому пораздала, думала потом заберу всё, а ни черта не запомнила, кому что отдано, и машинка «Зингер» швейная, и ткани хорошие, много чего ушло. Ещё с отцом вашим возюкалась, он же пьяный был, всё в пожарище бежать порывался, я его к речке отвела, на берег положила, там, думаю, сыро, огонь не возьмёт, только бы, думаю, уснул. А ему что, пьяному-то, как положила, так весь пожар и проспал, и слава богу.

—так ну чего, я ему кричу, давай его, Витька, заяц ведь это, итит твою мать!

— Ну я ж, дядь Фадь, раз-то первой был, на охоте-то, не видал ничё, беляка в глаза не видо-вал, — оправдывался Витька.

— Ну-ну, поговори, — смеётся, — он мне, значит, «не, дядь Фадь, эт не заяц, это бумага», я кричу, какая на хрен бумага, стреляй, мать твою!

— Чего ж сам не стрелял?

— Так я ж ему, племяшу окаянному, своё же ружьё-то отдал! На, мол, учись. В общем, бумага очухалась и ускакала, только пятки сверкали.

Все смеются, и Витька-племяш, жёниной сестры сын, тоже смеётся. А сам потешный, на поплавок похож, когда хохочет, росту маленького, в шароварах до пупа, рубашонка беленькая, на все пуговички застёгнутая, и говорит всё окая, да быстренько как-то, нелепенько. Он любил больше рыбалку, так безобиднее, рыбу не жалко.

— А я-то сию себе, посиживаю, солнце-то чё, припекает, я-то и в сон, и разморило, — Вить-

ка-племяш. — А меня в бок, значит, приятель, э, говорит! Говорит, карп, кажись, клюнул, тyani, тyani, карп, значит... Ну, чё, вытянули такого карпа, ух, во такого (показывает руками), в жисть не видовали, все тада дивились, ой, как дивились, я-то дивился, во так вот, а в охоте я...

— Да ты и в рыбалке!.. — перебил Фадей. — Вот когда в гражданку бились, помню, мимо речки шли, а там вдоль берега всё трупы сплошь, красные, белые, все вместе, все трупы, а из речки, значит, налимы выползают, мы с товарищами так и опешили, чуть ли не в метр длиною, и, как пиявки, тела-то мёртвые сосут. Мерзость, тьфу ты, мать твою, как вспомню!.. Рыбалка! А мать, Прасковья моя, притащила недавно откуда-то этого гада, сготовить хотела, чуть не стошнило, ей-богу! А тоже рыба, не маленькая рыба, тоже во, а до чего ж противна-то!

А потом гости по домам, хозяева — провожать, ночи тёплые пошли, без двух дней лето.

А всё пахло, а всё так пахло! Как всегда, впрочем, в эту пору так пахнет, но чуть иначе, и не взрослее, и не старее, а по-новому, сирень-черёмуха, жасмина кусты, яблони — всё по-новому, и что это тут за такое вокруг?

Дорогой — песни, Фадей жену за талию приобнял, а домики окна свои давно погасили, и только окрестным барбосам есть дело до песен неснящих, и псы отчаянно переходят на лай.

А в этом доме раньше Колька-башмачник жил, хорошо чинить умел, руки золотые, в реке утоп прошлым летом. А здесь вот Галька-горластая жила себе, баба крепкая, упругая вся, голос с хрипотцой, волосы каштановые, потом её солдатик один увёз, свои-то не разглядели. А вот тут Васька-чёрт жил, это уж баба Мария помнит, баба Мария, мать Прасковья, женщина старая, но приятная, хорошая, но верующая. Фадей её всё равно уважает, тещу как мать почитать надо — воспитание, а то, что иконки по дому, опасно, конечно, но старой простительно. Из семьи купеческой баба Мария, сам отец не работал, нанимали всё, сахар головами треугольными, орехи мешками всяческие, копил. Жена Фиоза получше была, но мужа боялась, перечить боялась. Детей двое. Сын да дочь, баба Мария. 18 сарафанов, платки кашемировые, баретки да ботиночки, да сапоги хромовые скрипящие, за богатого отдавали, а с Петром Ермолаевским убежала баба Мария.

Петро же голь перекатная, взять с него нечё, отец Марию после такого и знать отказался, а сарафаны все на радость клопам в сундуках пылиться оставил.

Со стороны Петро тоже не всё так ладно получилось. Привёз он невесту молодую с семьёю знакомиться. Сёстры с матерью хоть и скалятся улыбками, а сами недобрые чего-то. А дело всё в том, что на своей, на местной хотели женить сына-брата, давно знакомая, с сёстрами дружила, девка работающая, сильная, полезная. А он белоручку привёз, дочь купцову. Извести захотели — на тебе, золовушка, змеиня головушка, каравая румяного в дорогу, кушай не подавись, и что б тебе пухом всё.

Обратно едут, а Марии невмочь, голова дурная, морок сплошь, на дворе жарко, а её в озноб. Лучше не стало и до зимы, есть отказывается, как смерть, бледная, худющая, зимою на улицу выйдет раздетая и всё ей душно-жарко. Узнала Мария про бабку одну, к ней поехала. А та её у ворот уж поджидает. Как, откуда? А я давно поджидаю. Наговор прочитала, водицу дала, дорогой не пей, а дома, мол, сядешь голая под матку (балку несущую в доме), волосы распустишь, вот тогда и... Сделала всё как положено Мария, приехала домой, дождалась ночи, сотворила обряд, и как схватило за сердце что-то, в животе заныло. То ли морок в голове, то ли явь, но помнит Мария, что родила в ту ночь кого-то страшненького, лицом на луну похожего, да на блин ещё, в смысле без конечностей, округлое. Но теперь за давностью лет ей и самой кажется, что привиделось. Выздоровела, поправились, дети народились. Правда, девки одни, парням тогда гектар леса положено было, а девки, что пустое место — ничего за них не давали. Фетисья, Евдокия да Прасковьюшка. А потом всё-таки случился Александр. Больше детей не было. Купеческой дочке и с землёю работать пришлось, и голодали, а отец Марии был непреклонен, не пускал дочь на порог, и внуков своих даже не видывал. Фиоза, хоть и боялась мужа, да тайком внуков нянчила, еду-одежку притаскивала. Скажет внучке: «Прибегай, мол, завтра, Прасковьюшка, к амбару, я пирожков постряпаю, там тебе спрячу». Прасковьюшка прибежит, вытащит пирожки из корзинки и домой со всех ног, чтоб дед не видел, так она и не бывала в гостях у деда ни разочку.

Помимо блина-луны, баба Мария знала много разных историй и страху умела навести не хуже Гоголя. Чего стоит её рассказ про ведьму, которая по ночам в свинью превращалась и молодцев покрасивше закатывала насмерть, а один храбрец схватил как-то свинью-ведьму и вспорол ножом, потом пришли к бабе той проверить, она ли, а та вся кровью изошла, мёртвая лежит.

И все истории бабы Марии были не из третьих уст, а её же глазами увиденные, так что да-

же коммунист и атеист Фадей начинал верить в то, что во времена, бабки Марии, то есть дооктябрьские времена и взаправду всякая нечисть водилась, и в эту историю про Ваську-чёрта, так особо любимую бабой Марией, поверить было вполне допустимо.

Васька, который чёрт, жил в маленьком низеньком домике, что рядом с Башмачником и Горластой, с Петро дружил до одного момента.

«А поехали, — Васька, — место одно знаю, наешься, напёшься и как с королём с тобою все будут». А чего? А поехали. Только вышли, тут же тройка прискакала, сели и вперёд.

Деревня кончилась, лес. А кони всё скачут-скачут, а метель всё выюжит-выюжит, и вправду Васька с чёртом знает. Сердце Петрово забилося. А Васька покоен, улыбаётся. «Особенно перепелов люблю, — говорит, — в винном соусе. Это, брат, тебе не то, что кура, и даже не гусь в яблоках!»

Потом избушка замаячила, и не на курьих ножках совсем. Отлегло. На пороге хозяева гостей дорогих встречают. В дом зашли, а народу... и все богатые видно, одеты хорошо, а столы от кушаний ломятся, от вин разных невиданных.

«Ешь, Петро, пей что хошь, только не крестись», — шепнул в ухо Васька-чёрт. И подумал Петро, и не страшно совсем. Сел за стол, положил себе в тарелку что приглянулося, вина налил, и по старой привычке, механически, окрестил себя знаменьем. Пропало всё, а Петро сидит на речке и ноги в прорубь свесил.

Домой пришёл кой-как, Мария его отчитала в чём свет стоит, да вроде ничего, не захворал. Встретил потом Ваську, что же ты, говорит, со мной сделал-то, сука такая, утопить меня хотел в проруби. А Васька ему: «Я как друга тебя уважить хотел, не крестись говорил? Говорил. Так что сам виноват, с меня спросу нет. Извиняйте».

— Вот тут-то и жил этот самый Васька-чёрт, — закончила рассказ баба Мария.

— Ну и страху понагнала, мать, как уснуть-то теперь? — смеются.

— Это что, нежные вы все, нервы у вас устройством хрупким отличаются, зато правду говорю.

А на вопросы, почему сейчас такая правда не случается, баба Мария сокровенно молчала, не реагируя на провокацию.

— Коль, ты? — в темноте белое пятно — Зина.

— Зинка? Ты чего тут... не спишь?

— Да вот Пакля залаяла, я думаю, кто ходит, вышла вот... смотрю — твои гуляют...

Молчание-молчание, неловкое всё, Коля смотрит на уходящую толпу, вроде как и говорить нечего.

— А я вот в школе теперь работаю, учительница начальных классов, представляешь... так забавно, но мне нравится, дети ведь, забавно всё, и Нюра ваша, и Нюра у меня теперь учатся... А как у тебя всё? Нравится в Свердловске? Давно приехал? — задержать пытается, рядом постоять, ведь так думалось много про него, так думалось, что теперь все слова рассыпались, потерялись где-то, не те-не те-не те, голова кругом.

— У меня в порядке, учусь, нравится...

— А тебе Нюра... — не успела договорить, перебил, чтоб не ставить совсем в неловкое:

— Да, говорила, Зин. Просто, сама видишь, отец сегодня приехал, давно все мы не виделись, пир вон на весь мир...

— Да уж, — улыбается глупо, отпускает.

Он говорил о том, что нужно идти, что они ещё увидятся, улыбался не так, для приличия, уходил.

А Зина кутала плечи в нетёплый платок, и это уже совсем не имело значения.

4. Игорь

АННА ФАДЕЕВНА теперь мало готовит, потому что руки трясутся, а больше потому, что Надя ругается, когда еда жирная и солёная, а у Анны Фадеевны выходит именно так. Единственное, что устраивает Надю, это мамин кисель из сухофруктов и рис, чем собственно и занимается Анна Фадеевна.

Кухня молочно-жёлтого цвета в мелкий цветочек, шторы белые, совсем белые, в пол-окна шторы. Два холодильника, один Вити, бывшего мужа Нади, другой их. На полу кусок когда-то большого и когда-то зелёного паласа. Не грязный, выщвел. Пока бурлит кисель и варится рис, Анна Фадеевна чистит яблоко и считает на календаре дни, когда её положат на лечение. Из-за сердца её раз в год кладут на профилактику, чтобы потом лучше билось. В этом году на март назначили. И хоть сейчас ещё ноябрь, она очень ждёт. Надя даже купила ей новые тапочки, дорогие, хорошие, по четыреста рублей тапочки.

Выходной день, хотя они теперь все на пенсии, так что --

Надя смотрит какие-то выходные программы по телевизору, Витя ушёл на футбол. Раньше он имел очень красивое тело и очень хорошо играл в футбол, потом у него случился инфаркт

и теперь максимум, что он может себе позволить, так это только наблюдать за игрой. Да и то иногда так распереживается, что даже таблетками не унять беспокойное сердце бывшего спортсмена. Внешне он по-прежнему в неплохой форме, подтянутый, в его шестьдесят три — молодцом. Хотя да, сердце. В этом году оно что-то особенно трепещет, и приступ всегда начинается от беспричинного беспокойства, тревоги, а потом уже боль. В том году Витя ещё сам на поле бегал, а потом с друзьями в сауну и по пиву, а зимою на лыжах, лес рядом, грех дома сиднем сидеть. Летом на рыбалку ездил, сети не любил, с удочками в основном, для души.

Поедет на ночь, в четыре утра клёв хороший, наловит по несколько вёдер, родне раздаст, самому-то куда, да и не очень любил он вкус рыбы. С Надей Витя развёлся уже лет семь будет, наскоро, показательно развёлся, а с разменом не получилось, компромисса не нашли, квартира хоть и трёхкомнатная, но хрущёвка, даже на два особняка не вышло выменять, кому-то бы досталась комната с соседями или гостинка, так и решили подождать пока, чего ждать --

Питались раздельно, бюджет, холодильники — всё у каждого своё. Когда у Нади и Анны Фадеевны было туго с деньгами, Витя займы давал, а они его помидорами из сада угощали. Потом сад продали, потому что ходить туда было некому, все нездоровые оказались. Анна Фадеевна плакала, сопротивлялась, а потом смирилась. Год назад ей за сад этот тридцать тысяч давали, а она отказалась, и Наде не сказывала, а в этом году припёрло, так почти задаром пришлось сплавить. Как она теперь без своих садинок, теплицы, а домик ещё мужем Андреем деланный, резной весь, на теремок похож, продано.

Игорь, сын-внук, чудо в перьях. Его, когда из тюрьмы вышел, жена бывшая, Ирка, назад к себе прибрала, у них и дочери тогда восемь лет было. Устроился на завод в электролизный, там платили хорошо. Машину купил новую, ремонт в квартире Иркиной отбабахал в круглую цифру, техники накупил, дочери — попугайчика заморского, цветастого, жене — шмотки, цапки, сам приоделся, дружбаны на улице не узнавали. А потом в этом их электролизном за вредность начали спирт давать. Раньше придёт со смены, в горло кусок не лезет, а если и залезет, то назад выйдет махом, такие последствия. А теперь спирта хапнули и вроде ничего, жить можно. Игорь запил по-чёрному, пропадал неделями. Дочка из школы пришла как-то, а папа там со шлюхой, голый по квартире скачет, — явился. Ирка его выгнала. Кричал, угрожал, столько

бабла вбухано, но переехал к бабке с матерью, с отцом, прописала к себе Анна Фадеевна на свою голову.

Из электролизного за пьянство уволили, таксовать начал, а чего? График гибкий, крыша хорошая, связи полезные, уголовный мир бывшего ээка и после тянет. Сам сидел за то, что женщину сбил, потом на условно перевели, с Ирккой у них какой-то конфликт случился, избил её очень, а та взяла, да и в милицию заявила. Строгача дали и в Тагил Нижний отправили. Развод, все дела, мать передачки возила, сигарет блоки, колбасы палки, чай, носки вязала, «Игорёша, ты мой Игорёшенька, от слова горюшко». А Игорёша когда вышел, мать даже и не навестил.

Теперь вот вместе живут. Теперь вот Надя по-другому сына своего называет, всё больше тварью да сволочью.

— Всё, мам, слышишь? Всё, — Надя, — хватит!.. Ещё на его хайло готовить, он там не таксует, а пирует, гуленьки ему погуленьки, за квартиру денег тоже не отдаёт, в общем, как хочет пусть, сёдня придёт — будет знать, а то чё хорошо устроился, на готовеньком всём, можно вообще не работать... а он так и делает...у бабки с матерью на шее в сорок-то лет! В общем, всё мам.

Игорь пришёл в десять вечера, долго бухтел в прихожей, ботинки свои разглядывал. Потом на кухне посудой бренчал, чайник поставил.

— Мать, есть-то чё?

Надя молчит.

— Я тя справииваю, ты, блядь, глухая, что ль, я не понял? — к Анне Фадеевне: — Бабка, чё она бычится-то?

— Ты себе гулял, пил где, вот там и ешь, — от- важная Анна Фадеевна.

— Пнятна всё.

Ушёл.

— Надь, хоть рису ему может?

— Рису, рису, — передразнивая, — сам возьмёт, сожрёт, знаешь ведь.

Игорь нашёл в холодильнике почти пустой пакет майонеза, на батон намазал. Вошла Анна Фадеевна. То смерти ему желает, а то жалко до боли, парень голодный.

— Там-то в кастрюле рис наварила, масло в морозильнике возьмёшь, котлеты тоже.

— Ба-а, — жалобит, сорокалетний амбал и жалобит. — Ну, ба?

— Чего ещё?

— Ну сделай мне сама? Ну, хочешь на колени встану, — встал на колени, — пожарь котлеток, ба, а?

Анна Фадеевна молча достаёт масло, вынимает из морозильника котлеты и готовит непутёвому внуку ужин.

5. Мама

«...КОГДА Я ВЫРОСТУ я буду учителнисей и у меня будет большой при большой клас. Я буду учить дитей всиму что нужно в жызни. И писать красиво, и считать буду учить, а ещё рисовать красиво. У меня детей будет много, потому что дети это будущее, потому что дети это память. Вот когда меня не будет Нюры Медведевских уже не будет, а дети астанутся и какбудта я астанусь. Я буду их сильно любить, дочкам буду шить красивые платя и кормить конфетами, а сыну подарю солдатиков и жылезную дарогу, потому что все мальчики это любят. Вообще они не будут нуждатса ни в чом и будут любить меня. А муж у меня будет лёчиком, как Коля, потому что это самые... потому что лёчики ближе к небу, потому что...»

— Нюр? В Кораблёво поеду, слышь?.. Чего сопишь-то, Нюр, пишешь что?

— А нам сочинение задали, «Когда я вырасту» называется... ты надолго, мам?

— Поела бы, Нюр, — не слушает, в себе вся, — а то уж, поди, остыло всё, иди, там тебе стоит.

Шла осень. Коля был на учёбе, писал письма, несколько фотокарточек прислал, где он с другом, где с У-2, но это пока, это только учебный У-2, потом будут истребители, штурмовики и даже гидросамолёты, когда же-когда же, ну потерпи же!

Фадей часто пропадал. То в своём «пчелином» домике или же ходил с Фингалом на охоту. Щенок уже был приличного росту и легко бегал по болотам за подстреляными утками. Фадей избегал дома в последнее время, так начало казаться Прасковье, так было. Она не боялась измены, она знала, что муж любит пригульнуть налево, но всё это мелкие связи, незначительные. А недавно баба Мария от местных старух слышала, что какая-то Лушка, блядь такая, за Фадеем бегаёт-увивается. Он нравился женщинам. Росту высокого, силы немереной, шутит-смеётся, рубашки косоворотные, фуражка с околышком, а голос, голос-то какой! Оркестры, баяны, струнно-смычковые!

Слава богу, дядя Егор в Кораблёву поехал за курами, не то бы Прасковьюшке ноженьками топать пришлось, а ведь уж не май месяц, поди, и вспростыть можно. Прасковьюшка-

Прасковьюшка, волосы каштановые длинные, завязала в узел, под платком схоронила, тело крепкое, с лета ещё загорелое, укутала всё — не видать саму, поехала с дядей Егором. Сидит, призадумалась, али не весело? Как же ей, как же. Фадей уж который день не дома ночует, глаза проглядела, проплакала сине-синие свои. Уж она ему, чёрту окаянному, и путь заговаривала, и сердце к столу кукушкино подавала, чтоб не гулялося, а ненадолго хватает, всё по-прежнему.

Фадей, ещё слегка пьяненький, за столом сидит, шутки шутит, смеются все, по правую руку Лушка, улыбается тоже, огурец пожёвывает. Белёсая вся, в канапушечках-веснушечках, губы красненькие, глаза щурит, плечи чуткие в шаль запрягала. Не ждали Прасковьюшку, только вошла — замолкли разом, как на ворота новые, вылупились. Лушку-девку подвинули — жена подле мужа, ребро адамово, муки адовы. И Фадей молчит, звука не выронит, спирт водичею, на жену не смотрит. Так весь вечер и просидели, а ночью хозяин постелил им в отдельной комнате, дал перину пуховую, бельишко чистое, как положено всё гостям семейным. А в соседней комнате Лушка на печке устроилась, ни стыда, ни совести — уйти не подумала. Только двери затворились, зашипел Фадей на Прасковьюшку:

— Чего припёрлась-то, сучка драная, звал тебя, что ли, кто? Ты скажи, звал? Я тебя звал? — плечи её трясёт, глаза то ли пьяные, то ли — то ли. — Пришёл бы, чего мне сделается!.. Ты же мне вот, верёвку на шею и узел покрепче!.. кукушку мне, Фадя, подстрели!.. знаю я твоих кукушек, дура!.. Это ж надо, сучка какая...

Толкнул её, мимо кровати упала, да так и осталась, опешила, никогда таким Прасковьюшка мужа не видала.

— Я тебе закукую, так покукую!.. Хосподи-и... Надоело как, надоело-то всё, го-осподи! — Фадей начал потихоньку замолкать.

Посидел-посидел, ко сну раздеваться начал. Дышит тяжело, внутри клокочет всё, сдержаться надо.

А Прасковья опомнилась, поднялась, и ну ответное:

— Да как не стыдно-то, говнюк ты, сучий ты потрох, скотина неблагодарная, я ж тебе всю...

Подступило, что сдерживал, и что первое под руку, а Фадей сапоги снимал в это время, как развернётся, да как сапогом в Прасковьюшку, меткий. А она на полуслове осела враз, пала, белёхонькая моментом сделалась.

— Мать, ты чего это, а, мать? — схватил её, трясёт, у самого сердце перевернулось. — Чего... куда тебе, мать, а? Чего делать-то, господи! Слышишь ты меня, ну-ка... слышишь?

Очнулася, стонет, ни слова не разобрать — тихо.

— Щас, мать, щас, — положил её на кровать, перина пуховая, бельишко белое, сама как простыня.

— Ой, Фадь, не могу, что-то мне... так не могу, ой, не могу, — и всё повторяла таким чужим голосом.

— Где болит-то, мать, где? — а сам смотрит, живот у неё весь надулся, не прикоснись.

Лошадей запрягли наскоро, в Катайск отправились, со всего духу скакали. Больница одна, да и то за тридевять земель.

К четырём утра Прасковью прооперировали, Фадей у дверей ждал, потом обливался.

— Ну чего это, как... она?

— Селезёнка была порвана, кровь внутрь пошла, операция сложная, сами понимаете, — врач, — кровопотери большие, и переливание тут не поможет, отторгнется, а своей крови на стакан не больше, — врачевные ухмылки, но он серьёзен. — Говорила на ведро упала, поскользнулась мол... ну-ну... кто её так?

— И что же теперь?.. Как теперь...

— Ну, если крепкая — выкарабкается, пока сложно говорить.

— Баба, а скоро мама вернётся? — спрашивала Нюра бабу Марию, а та плакала-плакала.

Потом дела на лад кое-как пошли, врач сказал печени говяжьей закупить побольше и кормить сырою по два раза в сутки. Нюра теперь к маме ездила часто, сама кормила её, а Прасковья ныла, но ела мерзкое мясо.

Нюра с Толей да бабой Марией втроём теперь вечера коротали. Фадей очень переживал и часто оставался в больнице на ночь, спал мало, осунулся. А когда его дома не было, баба Мария разрешала Фингала в дом пускать, раньше он в сенях ночевал и не жаловался, а теперь как вечер, так двери скоблит, просится.

— Баба! Давай его пустим, а, баба, ему там холодно? — жалобят бабу Марию Нюра с Толем.

— Ведь паразит же, — смеялась баба Мария, — поглядите-ка, вон шерсть какая, где замерзнуть-то! На снег ложится, тот тает, а ему хоть бы хоба, тепло. А тут погреться, мол, хитре-

ец! К людям он тянется, с нами ему посидеть охота! Вот отец с матерью приедут, устроят нам взбучку, что мы его приучили!

И так радостно, и от печки, и оттого что зима, и что Фингал в доме, и главное «отец с матерью приедут», значит, всё уже миновало, значит, всё уже совсем скоро будет по-прежнему, но уже сейчас хорошо, от предчувствий хорошо, которые так приятно щекочат носы, и Нюра с Толей довольно ими шмыгают.

— Баба, а как они познакомились... ну, мама с папой? Баба, а баба?

— Да что рассказывать, мелкие вы ещё, соплюшки, расскажи им... Фадей-то Прасковью давно знал, друзья общие, гуляли все вместе, а подросли немного — любовь образовалась. Но всё было неспешно как-то. А тогда ведь устои, тогда кто девку запортит, тот и муж будет, другим-то она на кой чёрт, запорченная. Ну, конечно, виновник мог и не жениться вовсе, тогда уж дело совсем труба, жизнь закалечена. А Григорий был из семьи зажиточной, приличной, нечета Медведевским-то, у них же убийца на убийце все, — баба Мария была правдоруб, и даже детям могла нагородить такого, чего и не надо бы. — Ещё отец ихний, Матвей Иваныч, брата своёва убил и на жене евоной сам женился. Поехали они по дрова, вроде того... Матвей его вязанкой и завалил, в деревню прибёг, глаза по полтиннику, брата, мол, так и так, дровами прибило. Ну, все в деревне поняли, что к чему, тем более и полгода не прошло, а они с женой братовой уж поженились. И дети у них, точно горох посыпались. Зотик, Наталия, Агафья, да батя ваш Фадя. Мы с Петро к Фаде тогда насторожено относились, Григорий, поди, получше будет, думали...

...Подъехал Гришка на тройке с бубенчиками и, а ну её, Прасковью, силой взял, с собой увёз. А на следующий день к нам пришёл свататься. Петро подумал-подумал, да и выдал дочь замуж. Фадей погоревал немного, да тоже женился себе, правда, жена померла скоро, от туберкулёза, что ли, не знаю я точно, в общем, и года не прошло.

Прасковья в мужнином доме жила, у нас-то места мало было. Скоро дочку родила, Любушкой назвали, сестру вашу непутёвую, белобрысая, лицом в свекровь, «масть сразу видно» — свёкор похихикивал и наливочку кушал себе. А потом царь отрёкся, беленькие, красненькие, Григорий беленький случился и ушёл воевать, а свёкра от всех этих заварушек удар хватил, так и помер, наливочку свою недокушамши, на столе стоять осталась.

Дальше чёрти что началось, красные белых мутыжат, белые — красных, день село под три-

колором, день под красным знаменем, туда-сюда, сюда-туда, надоели и те и другие. А женщины в Корюково забаву нашли, на стрельбища ходить. Поначалу как обяэаловка, а потом самим понравилось, и мужьям подмога, мол, будет. Но всё ведь не пойми как. У одной муж беленький, у другой красненький... один серый, другой белый... вот такие гуси. В бывшей усадьбе одного из беленьких стрельбища проходили. Просторно, удобно, винтовки выдали. Сад яблоне-черёмуховый, запущенный, зато в тени можно от солнца спрятаться. Как-то Прасковья с соседкой Феней, была такая, пошли отдохнуть. Коло черёмухи стали, Прасковья винтовку свою в землю воткнула, а там вроде брякнуло чего, вроде клад. Решили они ночью прийти раскопать, когда никого не будет уж.

Набор посуды серебряной на двенадцать персон откопали, шкатулку с драгоценностями, бриллианты, рубины в серебре да золоте. Поделили так — набор посуды Феня взяла, да ещё пару камней каких-то, а Прасковья шкатулку с камнями разными. Но домой не потащила, там её свекровь заедала, шарила всё кругом, и жадюга была та ещё. Мама ваша наказала Дусе, ну, тёте Дусе, спрятать пока всё у себя, та и сберегла. Потом-то в Корюково снова белые пришли, и хозяин усадьбы с ними. Хватился, а клада тютю, нету! Уж я не знаю, как они прознали, но Прасковью с Фенькой в суд потащили. Их, мол, так и так, копали — не копали, а те не сознаются. Их в тюрьму, значит, обеих, а ночью пришёл хозяин со своими. Взяли они вашу маму, к лошади её привязали за талию, да и пустили по дороге. Платье в лоскуты, раны сплошь, как она, бедная, тогда выдержала, ещё и пистолет к виску приставляли, не созналася. Три дня она в тюрьме просидела, а потом красные пришли и маму вашу освободили. Дождалась ваша мама. Только не Григория, а папу Фадю. Григорий, тот погиб, а может, и бежал, хотя куда ему, вёобщем, не вернулся. Вот и поженились наконец-то мама да папа ваши. И ведь не бывает, зайцы мои, чтобы всё сразу ладно было, всё препятствия должны быть, боженька нас всех испытывает, всё испытывает. Свекровь тогда весь дом перевернула, клад искала, шантажировать начала. Не отдам, мол, вам Любку, если клад найдённый не получу. А Любка, она Прасковью мамою ни в жизнь не звала, у неё ведь мамка свекровь была, она так и звала её, мамкою, представьте себе. В общем, отдали ваши родители часть из шкатулки свекрови, а та им Любу вернула, как уговорено всё. Вы родились, кушать было нечего, вот мама ваша в Свердловск и ездила, шкатулку эту всю на ткани, на

еду выменивала. Ещё перстень был рубиновый, красивый такой. Поехала Прасковья ситец покупать, а денег не хватило, продавец смотрит ей на руку, перстень, мол, могу взять. А она рада-радёшенька, променяла его на четыре метра. Ничто? Ничто. А что делать, вот так вот, уята мои.

— А я помню этот перстень, он весь переливался, рубинчик, красивый-красивый, я помню его, баба Мария, помню, — а Нюра помнила. И долго потом помнила, и особенно эти бездарные четыре метра ситца помнила.

Печка смачно потрескивала, и было уже глубоко за вечер. Фингал не спал, а довольный, что его пустили, сидел хорошился, ушами шевелил и смотрел внимательно в лицо говорящим, думая, что и он такой же, не пёс совсем.

6. Недлинные письма

ВЫЗДОРОВЕЛА Прасковьюшка, зажили они с Фадеем по-прежнему. Вернее, нет, он теперь не знал Лушек всяких, он теперь одною ею дышать стал, будто и двадцать лет вместе не жили, такие теперь оба новенькие. А Коля поступил в Авиационно-техническое училище в Молотове. Форма с иголочки, ладный весь, сапоги только проносились, но это поправимо всё. Фото шлёт, письма пишет, не забывает.

«На память папе и маме, с тем, чтобы вы сфотографировались и послали мне тоже фото. Я жду. Нюре с Толяем привет. Ваш сын и брат Колька».

«Это очень плохо вышло, снимался в своих сапогах, помните, которые привёзли мне в Свердловск. А сейчас у меня, у них, головки проносились, надо будет отремонтировать. Зато они мне до сих пор нравятся, очень хорошо в них танцевать. Но у меня кроме них есть одни хромовые, хороший хром, лучше, чем у дяди Вити. Одни простые, и ещё унты замечательные...» — такие послания на фотокарточках, коротенькие, где-то смешные, но часто.

— Девушка, милая, вы разбиваете сердце бедного лётчика! Можно сказать, подрезаете ему крылья, о, я поражён в самую душу! Ну, скажите же мне своё имя? О ком мне думать в час бессонный, глядя на звёзды, я должен знать!

— Горохов, отстань от бедных девушек, они ведь даже не понимают, к кому именно ты обращаешься, определись для начала, лирический рыцарь, и дай покурить, — Коля выхватил из

пальцев Горохова папиросу, которую тот хотел использовать по назначению сам.

— А вы, как я погляжу, отчаянный малый! А знаете ли, что за это вам может быть, Николай? — сощурил глаза Горохов, он любил иногда переходить на «вы», так ему казалось смешнее.

— И что же, Станислав? — засмеялся Коля и выхватил из другой руки Горохова спички. Все хохотали. Горохов внимательно смотрел на Колю, испепеляющей улыбкой смотрел.

— А вот что, — и Горохов неудачно попытался исполнить учебный приём, но уронить Колю не удалось, он извернулся и за спину заломил Горохову руки.

— Как вы там, Станислав? — затягиваясь папиросой и продолжая держать в неудобном положении Горохова.

— Что вы хотите, Николай?

Коля отпустил друга, руки развёл, головой замотал, улыбается ему — ничего не хочу, Станислав.

— Смешной этот ваш Горохов, а я Марина, — и девушка протянула Коле маленькую белую ручку.

— Очень приятно, Николай.

— А вы лётчик?

— Лётчик.

— А вы не отсюда?

— Не отсюда.

— А как вам Пермь, ой, Молотов?

— Ничего.

— Так непривычно, теперь вот Молотов, да?

— А пойдёте, Марина, на Каму смотреть и мороженое кушать. Вы любите мороженое?

— Люблю.

Коля с Мариной вышли на улицу, было ещё только начало ноября, и сапоги были целы. Снега всё не было, выпадал раз, два дня полежал и сошёл. Морось одна летит, и от неё, и от неба всё становится металлически-серым.

Кама за этот дождливый год разлилась так, что другой берег разглядеть было трудно, особенно вечером. По реке шли какие-то баржи, что-то гудело, а вдалеке, где река давала изгиб и была ещё шире, море огней светилось, отражалось, плескалось в её воде, и, видимо, туда шли все эти судна.

Марина дышала в пальцы и улыбалась. А Коля шёл рядом и нёс стаканчики пломбира.

— Вы точно будете мороженое? По-моему, вы, Марин, замёрзли...

— Нет, немного, нет, — мотала головой, и щёки отчего-то становились пунцовыми. —

Я вот почему-то люблю мороженое, именно когда такая погода, или перед тем, как заболеть.

— Но, может, вы болеете как раз оттого, что едите его в такую погоду?

— Нет же, Коля, нет же, я точно знаю, что когда я дико хочу мороженого, значит, процесс запущен и я уже больна, вот так вот всё, да не берите в голову, давайте сюда своё мороженое.

Она взяла пломбир и с удовольствием надкусила.

— Смотрю всегда на те огни, так небо освещают, и почему-то мне так странно от них, ну, в смысле, и радостно и тревожно как-то одновременно. А что вы думаете, Николай?

— По поводу огней?

— Ну да, по поводу них.

— А пойдёте туда?

— Не-ет, — засмеялась, бубенцами вся, даже глаза смеются, всё в ней улыбками. — Туда нельзя пройти, и далеко очень к тому же, это так кажется, что там всё в огнях

— А разве нет?

— Нет, там, конечно, всё в огнях, но почему-то не так заметно, как отсюда.

— То есть мы с вами сейчас именно на том самом удачном месте, где лучше всего наблюдать...

— Нет, Коля, мы с вами сейчас просто на самом лучшем месте... в мире, в мире-е! Представьте себе, Николай!

Она смеялась и кружилась, всё кружилась, и даже пошёл снег.

7. Накануне

«Я ГЛЯЖУ, А ПО НЕБУ вроде икона плывёт, Богородица, Дева Мария, батюшки-и! Я молиться давай, на колени стала, поклоны бью, а она плывёт и улыбается, горько так улыбается. Что-то случиться должно, что-то должно...»

А во дворе наутро снег до земли стаял в том месте, где баба Мария иконе молилась. А в деревне на неё пальцем у виска крутили — помещалась старуха.

Утро в городе Молотов, лето. Третье лето Николая в этом городе, двадцать первое в этой жизни и сорок первое в этом веке.

А он опять изменился. Коля. И выправка, и заслуги, и взгляд, и он теперь не младший, а старший лейтенант. Когда-нибудь, ну вот когда-нибудь, ты только подожди, и офицер, и полковник, и генерал, и всё будет, лейтенант, ведь ты, да ты ведь лобастый, образование получил, из деревни... на свет поглядеть, ну и конечно, а как без этого, и себя показать, такого-то!

Весь день был свободен, и поэтому Горохов тихо посапывал на своей койке, иногда переходя на неразборчивую речь. Коля встал рано, Коля курил в форточку и шурился, а небо было синее, все дни — серое, а сегодня — синее, потому что.

— Горохов, слышь, Горохов?

Невнятная речь.

— Ты, Горохов, в последнее время что-то шалишь много, сахар таскаешь, конфеты для Маринки... как мышь, ей-богу, я не говорю крыса, заметь! Про папиросы я вообще молчу. Ты, Горохов, раб своего чрева, я так скажу, и нужно вести с тобою поучительно-разъяснительные беседы и всячески тебя исправлять, слышишь там?

— Да, — отвечал Горохов коротко и внятно, в автоматическом режиме.

— А скажи, будешь стирать мои портянки, будешь?

— Угу.

— И вообще слушаться меня во всём, отвечай, будешь?

— Угу

— А штопать мне будешь, и убирать тут всё, а? Что молчишь, ну-ка?

— Ну-у.

— Так да или нет, Горохов?

— Да.

— Э-э, тюлень, а ещё офицер называется! — и Коля хотел бросить в него пачкой папирос, но отчего-то передумал. — Ладно, живи себе.

Коля знал, что в такие моменты Горохов особенно уязвим, и попросить его можно было о чём угодно.

«Ну вот, осталось совсем чуток, и я приеду. В августе, наверное, буду в Корюкове. Мама, знала бы ты, как я соскучился по домашней еде, по твоим пирогам-калинникам. Горохов говорит, что они пахнут мерзко. „Дурень“ ему говорю, он наших не пробовал! Папа, здравствуй, ты будешь мной гордиться, дали мне звание, теперь я старший лейтенант Николай Фадеевич Медведев. Фамилию так сократил, чтобы не было лишних вопросов. Думаю, вы не против. Теперь у меня новая форма, приеду — увидите. Наши-то меня, поди, не узнают. Ничего, пусть поглядят, каким стал Колька Фадин.

Жду вашего письма с фотокарточкой, уж больно на Ньюру с Толяем поглядеть охота, вымахали наверно — не узнать. Привет им большущий, и всех вас крепко целую и обнимаю. Ваш сын Колька».

Коля занёс письмо на почту, а потом пошёл к Марине. Сегодня был важный день, сегодня Марина знакомила Колю с родителями. А родители у неё были важные. Мама так, жена мужа, а папа был в верхушке городских властей очень даже не последним человеком, если не первым.

Синее платье с белым воротничком Марине очень шло. Косы уложила на голове корзинкой, и глаза её были особенно влажны и ярки в этот день, она подозревала беременность и поэтому торопила события, но Коля не знал.

Марина жила на Сибирской улице, в новом, вот-вот отстроенном большущем доме. С Колей она встретилась заранее, на углу, возле булочной, мать послала её за батоном и чём-то там к столу. При виде Коли она немного засмутилась, и даже уши её немного покраснели. Они не виделись неделю, обстоятельства, а Марина всегда смущалась после долгих расставаний, отвыкала.

— Ты главное будь, как ни в чем не бывало, если папа будет тебя пытаться разностыями там про судьбу... хорошо? Хорошо? Ну что ты молчишь! А ещё обязательно скажи папе что-нибудь лестное, он это любит, ну, например, про коллекцию его кораблей скажи. Он у меня корабли, макеты собирает, ве-есь кабинет у него заставлен, ве-есь... обязательно скажи, ладно? Ладно?

— Марин, я думаю, всё должно быть естественно, это лишнее... Всё по обстоятельствам, разберёмся.

— Да, но всё-таки... Я хочу, чтобы ты им понравился, как мне, так сильно-сильно!

— Как тебе? Как тебе значит? — улыбается, всё ближе. — Это будет не правильно, я думаю... как тебе... (Поцелуй-поцелуй.)

Папе Коля не понравился.

Что за речь? Вы откуда? Из Корюково? Ах, из деревни? Ах, старший лейтенант? Ну, что ж, флаг вам в руки, коньячком не балуетесь?

— В общем не стоит, Николай, ходить сюда. Любишь? Все блажь. Понимаешь, я не хочу Марине убогой жизни, и тебя я в нашей семье никак не желаю. Ты парень смышлённый, хоть и деревня, найди себе ровню. Ты ведь совсем не плох, сам-то, без бабы ты не останешься. Ну, всё, честь имею!

Мама Марины была добрее, домашней пищей потчевала, улыбалась, про родину расспрашивала, а в общем-то уже была скучна. А в общем-то нужно было идти. А в общем-то...

Нюра косы плести стала, кральками на уши накручивала, бусы на шею красные и «танцовать», четырнадцать лет! А по утрам она всё ещё бегала напару с Фингалом пасти гусей на берег Катайки, босая бегала. Подруге её, Муське, только-только пятнадцать исполнилось, эта в косы ленты вплетала, округлилась по-женски, и только курносый нос, всегда тёмненький от загара, очень её расстраивал.

— Нюр, а приходи сёдня ко мне, я одна, все в Катайск на свадьбу какого-то там родственника уехали, а меня тут приглядывать оставили... придёшь?

— Хорошо, Мусь, приду.

«Придёшь, спрашивает, приду, говорю. В общем пришла я к Муське, а она нарядилась вся, парней привела. Она меня постарше была, так уж тогда у неё то самое на уме-то и появилось, а я что, ребёнок ещё, мне на хрена всё это. Одиночно ничего такой, но мы с ним никогда раньше не дружили, потому что тоже не ахти, а другой, тот совсем мне не нравился. Мишка, одноклассник наш и сосед Муськин. Знала раньше, ну, что нравлюсь ему, и встречаться предлагал уж, и вот хоть на лицо он ничего такой был себе, может, и симпатичный кому, а я его как запомнила с соплями в начальных классах, вот хоть убей, аж глядеть противно. Сидят, значит, оба, пьяненькие уж, вечереет, я Муське-то говорю, хочешь обижайся, хочешь — нет, я домой. А та только и похихикивает. Ушла она с ним значит, миловаться себе в другую комнату, а я с этим Мишкой сопливым сидеть осталась, чую линять надо, двери-то хватать — заперты. Вот дак Муська! Дрянь такая! И в окно я тогда убежала, те хохотали, значит, а мне уж было не важно».

Сестра Прасковьи Евдокия вышла замуж и уехала от них с мужем в Катайск. Родила дочку, назвала Галей. Дочь Прасковьи от Григория, Люба, который год жила в Свердловске, только денег просила у матери, только на аборт просила, так много мужчин, так много беременностей. Фадей злился, но терпел, но содержал непутёвую падчерицу. Толяю на пятидесятилетие подарили велосипед. Настоящий, новёхонький. И он, в пиджаке, с белым-белым цветком в кармане, юбилейный весь, сел и помчался, только и видали, по полю, в сторону пасеки, где они раньше жили, через Тукманову гору, через Далматово к Боровой. А монастырь в Боровой не хуже, чем в Кижях, и купола такие же, из дерева, из вечности-ветхости, и от солнца все тёплые уже--

8. Та-та-та-та

КОЛЯ БЫЛ на задании, когда. Коля был в небе. Он думал про отца Марины, который так жесток, про саму Марину, которая всё равно будет женою, с которой, возможно, они уедут к нему на родину и он познакомит её с родителями, и будет у них большая-прибольшая семья. И такое небо вперёди, и под самолётом такие же квадратики полей, как, наверное, если б он летел над Корюковым. И домой бы, хоть денёчек, хоть одним глазом увидеть, как там, хоть одним вдохом вобрать все запахи, запах лип в ограде, кустов жасмина, застоялой катаякской воды, душистого мёда с отцовской пасеки, и даже специфический запах калинников, которые так вкусны, если не очень нюхать. Но.

Молотов из репродуктора Авиационного училища имени Молотова в городе Молотов — Киев бомбили, нам объявили, что-то там та-та-та-та.

Коля и Горохов попали в разные дивизии, кто-то что-то напутал, может быть. Вначале у Коли был ловкий истребитель, и в письмах домой он браванился — «и обогнать, и перегнать, всё могу». Он правда мог, орден Красной Звезды за просто так не подарят. Но все самолёты были в негодном состоянии, были разбиты. Набирали кого попало, три месяца учёбы и на тебе, летай, разбивайся себе наздоровье, самолёт свой разбивай, хотя, кроме истребителей, этим скороучкам не давали иного, — нужно было специальное образование.

Коле дали штурмовик. Тяжёлый, старый, трёхместный штурмовик. Ночевали лётчики в сарае, в крысах, так, что свет не туши, загрызут. Потом на рынке в Моздоке купили четырёх кошек, и спать стало намного тише.

Это было в конце октября 1942 года, деревня Моздок, под Нальчиком. Немцы наступали в том районе. 31 октября был подбит штурмовик. Колин штурмовик. Вначале подстрелили стрелка. Потом.

Коля только люк успел открыть. Открыть, но не выпрыгнуть. Ранило.

Выпрыгнул штурман, только он и был цел, он и письмо написал Прасковье с Фадеем. И они не верили штурману, потому что он врёт, потому что наверное, потому что может быть, если его только ранило, и если не нашли самолёт, то. Но самолёт нашли. Тело не собрать — вдребезги. И всё равно они не верили штурману, может, вовсе не ранило, а штурман скрыл, потому что был один парашют, а может быть...

А из личных вещей портсигар, орден Красной Звезды, совсем вот-вот полученный, и баян, везде его таскал с собою... Неужели теперь только фотокарточки, где «не очень-то вышло», письма его рукою, наскоро нацарапанные «Ваш сын Колька» и цветочки для Нюры акварелью, незабудки на жёлтом листке бумаги. Про Марину они не знали никогда. Возможно, она печалилась, возможно, плакала и обижалась, что он перестал ей писать, может, даже родила его ребёнка, а может, ей только показалось.

А Горохов уже во время Сталинграда командовал полком, и прошёл он всю войну, и до девяноста лет дожил, и умер почетным жителем Волгограда, генералом Гороховым.

Уж как плакала-рыдала Прасковья, в том же сорок втором Толяй, уже Анатолий, ушёл на фронт. Был танкистом. И был ещё друг Василий, тоже танкист, третьего весёлого друга не было, экипаж машины боевой дополнял нелепый Юра с медвежьей болезнью и несвязной речью.

Толяй знал много путей, где лучше ехать, где можно было обойти немцев. Три месяца были в окружении. Они с Василием спрятались под танком, а Юра так и не вылез. Всё было в мёртвых, немцы стреляли в мёртвых, немцы стреляли в танк, он загорелся. А было плюс пять, и рядом был Дунай, который тоже был весь в мёртвых. Толяй с Василием медленно и верно двигались в сторону реки, ползком, периодически притворяясь трупами. Когда они уже зашли в воду, танк взорвался, Анатолия контузило, а Юра так и не вылез.

Дождавшись темноты, Толяй с Василием долго шли вдоль Дуная, потом через лес, потом начали умирать, и их нашли наши. А домой уже пришли похоронки, а живые ведь, как в сказке бывает, так бывает.

Фадей ездил на фронт с продовольствием, с гумпомощью, начальник поезда, его долго не было, а в Корюкове голодали. Год был неурожайный, да и бабы одни, сил не хватало. Спасал Фингал. Он вырос в огромного чёрного пса, и очень за всех переживал. Он провожал Нюру до школы, провожал Прасковью. И частенько приносил из леса то зайца, то утку. Как это выходило, сложно объяснить, казалось бы, совсем невозможно огромному водолазу догнать юркого зайца или утку, но факт, но Фингал их не ел сам, он приносил в дом, его хвалили, и давали ему приготовленную для него часть добычи, ливерно-хрящевую в основном. Осенью Нюра с Прасковьей ходили в поле искать оставшийся

после уборочных работ картофель. Мелкий, скользкий, чуть гнилой, из него делали draniki и олябушки.

«...И такие вкусные были олябушки эти, такие, не описать!.. А однажды папа проездом оказался дома, и они с Фингалом пошли на охоту, так огромную косулю притащили. Папа на всех поделил, соседей накормил. Тогда все такие заморыши были, смотреть страшно, а перемёрло тоже сколько... баба Мария тоже померла. А у некоторых крыша, что называется, ехала. Жила у нас Стешка, муж у неё был Иван, на войну ушёл, и ни письма, ни похоронки. Держалась-держалась баба, а потом глядим, затворницей сделалась. Всё дома, дома, был уж конец войны почти. Приходят к ней бабы, а у той пир на весь мир, на кухне хлопочет, всё-то у неё печётся, пироги да блины, сама нарядная. В чём дело, спрашивают, а та шепотком: „Ванечка, мол, мой приехал...“ И давно, спрашивают, а та: „Уж вторую неделю мы с ним живём, он пока скрывается, чтоб обратно на фронт не забрали, сегодня вот блинчиков просит, стряпаю ему вот“. А муж её погуб, уж позже выяснилось».

В аккурат к концу войны приехала с лесозаготовок из Углича сестра Прасковьи Евдокия. До войны у неё был муж, дочка Галя, но в сорок первом же погуб на фронте муж, потом умерла дочка Галя, не дожив до своего полноценного года. А в сорок втором Евдокию принудительно отправили валить лес, и она валила лес, и валила лес сплошь женщины. И они перевыполняли пресловутый план, чтобы получить дополнительные талоны на хлеб, и они жили почти как в лагере, хуже, если так можно. И они пели матерные песни, и за словом в карман не лезли, те женщины, что валили лес, и они много шутили, анестезия сердца, и уже никогда не могли иметь детей, те женщины, что валили лес. Ехала в поезде домой, когда объявили конец, война-то кончилась, и дальше что. Дома своего у Евдокии уже не было, ничего не было. Дочь, муж, мать (баба Мария) — всё, что было, как песок, за несколько лет, из пальцев. Она приехала к Прасковье, стали жить вместе, стала работать на ма-слозаводе, закваской сыра заведовать.

За взятие Берлина, Будапешта, Японии. Метали на груди двадцатилетнего Анатолия. Окончательно он вернулся в Корюково весной сорок шестого. В Москве он женился на девушке Зое. Она была швея, и у неё были чудные, точно два полумесяца, глаза. Зоя много улыбалась и, кажется, очень любила Анатолия, по-

сколько после того, как он окончил в Москве курсы повышения квалификации, они оба без сожаления покинули столицу и уехали в Корюково. В Москве у Зои остались две сестры и пожилой отец, и раз в полгода она ездила навещать их. А дома Анатолий устроился мастером в инструментный цех Катайского насосного завода.

Фадея сделали заготовителем, такая своеобразная работа по собиранию яиц и выращиванию кур. Из-за войны Нюра закончила только восемь классов и работала в сельпо. Выдавала талоны на хлеб. Она очень нравилась председателю Мише, сорокалетнему, чуть лысенькому семьянину. У него были жена, ребёнок, как положено, но он домогался Нюры. А за непокорность отправлял на быке в зиму за дровами, улыбался-похихикивал, усы потирал да ремень поправлял.

9. После

ЕГО РАНИЛО В ГОЛОВУ, на войне ранило в голову, и рана ещё не зажила, а война уже кончилась. Ему было только девятнадцать лет, когда война кончилась. Степан ушёл на фронт добровольцем, он не был патриотом. Он родился в деревне Верхняя Теча и уже в пятнадцать лет убежал из дома в Катайск. Там он связался с компанией местных домушников, сбывал краденые вещи и что-то там кому-то задолжал, смертельно задолжал. Его искали убить, а он сбежал на фронт. Но сражался bravо, в окопах не срался, под начальство не прогибался, был себе не уме.

Рана ещё не зажила, но он уже ехал домой. Не в Катайск, не в Течу, мать с братом теперь перебрались в Корюково, туда и ехал. Поезд остановился в Бессарабии. Нищие сербки зарабатывали себе чем могли, караулили солдат на перронах и за еду-одежду могли выполнить что угодно, и даже нагадать.

— ...И на ближнее тебе скажу, едешь ты к одной Флюре, а встретишь другую, и будет у вас с ней кыса, так вот.

Степан молчал и курил. Сербка заглядывала ему в глаза и ждала платы.

— Нет у меня денег... подушка пуховая разве что... на вот, — протянул подушку, сербка медлила.

— Бери, бери, раз дают! Не надо, что ли?..

Та схватила подушку и, сверкая цветными бусами, умчалась в компанию таких же пёстро и грязно одетых, с запутанными длинными волосами, женщин. А рядом бегали их чумазые от-

прыски, клянча пряники-сухарики у проезжих солдатиков. Это были сербские цыгане.

«Флюра» и правда у Степана была, но не дождалась его. После войны был такой ажиотаж на мужчин, и «Флюра» спала со всеми, кто бы этого не пожелал с ней, и была она развратная триперная девка, которой даже стыдно кивнуть привет среди бела дня, не то что жениться на ней.

Мать и брат Михаил встретили Степана. Началось время заживания и привыкания к обыденности. Степана мучили сильные головные боли от ранения, с которыми можно было справиться только посредством водки. Потом боли стали утихать и появились цели, он устроился на железную дорогу помощником машиниста, и для полного комплекта ему ещё не хватало жены, детей, чтоб как у всех, чтобы мама не пилила и чтобы самостоятельность.

— Сходи, сына, за талонами на хлеб, сходи, — мать — Степану. — Там такая девка работает, симпатичная девка, Медведевских Аня, ну да знаешь ты? Откуда ты знаешь! Сходи, не трудно ведь.

— Ма-ам, ну что ты сводничеством каким-то, ей-богу...

— Ну сходи, я-то сёдня с ногами вон болею, сходи, сына.

Так они и познакомились. Степан взял талоны, пригласил Нюру на танцы, а та отказала — не понравился.

— Нюр, — подзуживала Нюру Муська, — пойдём сегодня на танцы, Лёнька друга обещал привести с собою... Ну что? Что опять тебе не так?! Ты же знаешь, Лёнька хороший, он не водится со всякими там. Он на железной дороге, кажется, работает, ну, друг его этот. Пойдём, а? Ну, Нюр...

— Пойдём, пойдём, ладно...

Друг оказался Степаном, вот и свидание вслепую. Степан тоже был удивлён внезапной встрече. И они оба решили, что это судьба. И оба понравились друг другу, и Степан проводил Нюру до дома и потом каждый день провожал её до дома. Было лето, и они подолгу бродили вдоль спящих улочек, а по выходным танцевали в клубе.

— Не пара он, Нюра, не-пара-он-тебе, этот Степан... При таком раскладе надо прежде всего на родню смотреть, какие родственники, такой и он станет со временем, а Зыряновы эти... э-э... едрит твою налево, ну вот, разлил. — Мёд бежал по банке на стол, а Фадей Матвеевич ложкой

собирал пролитое. — А ведь у нас в деревне все недолюбливают их, себе на уме всегда, и ведь уж сколько лет прошло, как они из этой Течи своей приехали, а ни с кем дружбу-то не водят, всё особняком живут... в общем одно скажу, Нюра, недобрые это люди, а может, где-то и нечестные, такое моё мнение... а вообще, смотри сама, сейчас времена не те, мы тебя с матерью не возлюбим, тебе с ним жить, не нам.

А Нюра облизывала медовые пальцы и безучастно наблюдала за вознёй отца. В сентябре она вышла замуж.

Вечером Анна Фадеевна всегда смотрела с Надей сериалы, у них даже распорядок дня был подогнан под сериалы. Они разговаривали с героями, кричали на них, жалели их, плакали, если что-то там было не в порядке, у этих героев. А иногда, когда уж совсем расчувствуются, Анна Фадеевна доставала запрятанный от Игоря коньяк и они с Надей выпивали грамм по тридцать, или капле по тридцать, как лекарство, для души. А потом Анна Фадеевна открывала стихи Высоцкого (песни его она не очень часто слушала) и читала их Наде вслух, иногда она читала Лермонтова или Есенина и вспоминала Надиного отца.

— ...Но ведь он любил меня, Надя, так любил меня, так уже не любят. Так уже меня никто не полюбит. Он оберегал меня... чтобы ни в чём нужды не знала, одеть всё меня получше старался, вкусное всё самое мне. Знаешь, как ребёнку. И обнимет меня так крепко-крепко, и не отпускает, будто, если ослабит чуть, я исчезну, будто мною хотел быть... Если б не ранение это... голова болела, всё болела...

— Голова не жопа! — злилась Надя. — Ты мне лучше про этого подонка не напоминай даже! Ты, мам, его себе идеализировала. Ну, что ты тогда видела, девочка из деревни, первый мужчина, всё такое. Ты мне больше про него не говори даже, родила меня больную всю, на голову вон такую же... с приветом, кузя... такие не рождаются по любви, мам, такие уроды, как я!

— Ну, что ты наговариваешь, Надя... ты у меня здоровая родилась, хорошая была девочка... все дети хорошие, все хорошие, Игорь тоже вон, в детстве-то хороший был, хороший... да-а...

10. Тапа. Надя

ВНАЧАЛЕ В ЭСТОНИЮ уехал Михаил, старший брат Степана, а следом, в том же сорок пятом, зимою, уехали Степан с Нюрой. На проща-

ние фотография пятиминутка, не забывайте, и крепко-крепко. В Эстонию ехали через Ленинград, как иначе. Нюра видела его впервые. Мимоходом. С Московского вокзала на Финляндский. И в запасе три часа. Ехали на самосвале.

Город ещё не оправился. Там было много дырявых домов, без окон, стёкол, дверей, стен. Там было мало той визитнокарточной позолоты, что так всегда привлекала приезжих, вся она, позолота, была мутна, ещё мутна. Не город-музей, город больной, город больных людей, и не только город. Страна. Победительница, которая выглядит побеждённой, что может быть забавней... и —

Первый раз Нюра была в ресторане. В ленинградском ресторане. Было не многолюдно. За соседним столиком сидел один мужчина в смешном неказистом беретике, и больше никого. Заказали немного вина и сёмгу с овощами.

Мужчина в беретике долго-долго смотрел на Нюру, так, что ей было трудно глотать от неловкости, потом он подошёл к их столику:

— Извините меня, пожалуйста, за нескромный вопрос, — обратился к Степану. — Ваша супруга случайно не азиаточка?

— Нет, русская, а в чём собственно...

— Уж очень похожи, глаза похожи...

Потом он смутился, ещё раз поглядел на Нюру, и добавил:

— Вы очень... вы даже не представляете!.. Вы очень похожи...

Потом снова обратился к Степану:

— У вас очень красивая жена, — и ушёл.

Тогда Нюра впервые ощутила себя взрослой, красивой и значимой, и ещё женою.

Вокзал больше напоминал пристанционную будочку. Тапа, город железнодорожников. Там жили почти одни железнодорожники, почти одни эстонцы. Город был небольшой, но плотно засаженный зеленью и маленькими домиками солнечного цвета. Русских было немного. Стоит ли говорить, что их не любили.

Русские жили в длинном одноэтажном доме, срубе. Человек пятнадцать. Все в отдельных квартирах, но с общими кухнями и удобствами во дворе. Иногда появлялись эстонцы-националисты. Они были вооружены, они стреляли в дом и кричали: «Тэрвэ-тэрвэ, сраныэ русчи! Убырайтэс! Оккупанты». И не дай бог сказать по-русски на рынке, — ничего не продадут, в лучшем случае проигнорируют, если по-русски.

Степана часто не было дома, он обычно уезжал на несколько дней по работе, помощник машиниста, потом сутки-двое дома, потом снова в

поезд. Нюра оставалась со свекровью. Свекровь пилила её постоянно, пол вымыт не так, на кусок хлеба не заработала, руки не из того места, и всё в таком духе. Нюра очень похудела, обстригла по плечи свои длинные косы, часто плакала и вспоминала дом. Степан привозил ей красивые платья, туфли кожаные лаковые, заколки, первый раз она была в настоящем баре, Степан привел её туда в целях ликбеза. Степан занимался с ней эстонским, учил её, как правильно есть, откуда сам всему научился! Он не знал про их отношения с матерью, а Нюра боялась пожаловаться, потому как Степан очень любил мать и был счастлив, что они живут вместе, что его ждут две такие самые любимые женщины.

В конце июня — начале июля Нюра со свекровью каждый день ходили в лес по землянику, чтобы потом продать. Лес был рядом, сосновый и отчего-то очень бугристый, и очень ямистый, отчего-то. Земляники было тьма. Огромные-огромные красные-красные ягоды, такие Нюра не видела за всю жизнь в Корюково. И росли они в основном по краям возле ямин. И сладкие! И вкусные очень.

— Большие-то какие! Сроду таких не видела! — восклицала Нюра.

А Степан не ел.

— Ну что ж ты, не любишь, что ли? Ну, съешь, ароматище-то, ух, чуешь, поди!

— Хочешь секрет раскрою? — Степан.

— Что же.

— Из крови ягодки... такие не лезут, Нюр.

— То есть как?

— Ты вот говоришь «бугорки да яминки», а там же, Ань, всё бомбы падали, это же не лес, это же одна сплошная могила, братская могила, понимаешь? Кровавые ягодки, Аня, так и несёт от них смертью, и запах их мне не нравится.

Нюра тоже больше не ела ту землянику, и вообще больше не ела землянику.

Тайком от Степана свекровь стала отправлять Нюру торговать молочными продуктами вместе с женою Михаила. Торговать в Ленинград. Ехали зайцами, между вагонами, на подножке, в том месте, где было опасное сцепление, авоськи бы не выронить, самим бы.

Однажды их забрала милиция. Продержали до вечера, потом пришёл какой-то молодой начальник, на бидон с молоком глянул, на Нюру в слезах, девочку почти, сжалился и отпустил, только чтобы больше ни-ни...

Тогда-то всё и раскрылось. Степан приехал, а мать к нему в ноги — послала Нюру-Аннушку торговать, а та не вернулась, с Ленинграда не вернулась ещё.

Нюра приехала на следующий день, с пустыни авоськами. Думали, заболела, вся бледнущая, тошнит, а она уже беременная была. И летом сорок седьмого Нюра родила девочку. Степан переступил через себя и, набравшись сил, сообщил матери, что они с Нюрой возвращаются в Корюково.

«Если уж жить со мной не будете, если уж так мать родную не любите, ну хоть назовите девочку, как я прошу, Надей назовите, в честь бабушки твоей, моей матери, Наденькой!» И назвали дочку Надею.

11. Рифма

ФАДЕЙ НЕ ЛЮБИЛ Степана, не доверял скорее, и через какое-то время, пожив в Корюково, было принято уехать в Свердловск. Вначале Степан с Нюрой жили у Нюриной сестры, Любы, потом Степану от работы дали комнату в коммуналке, на Вторчермете.

Надя уже делала свои первые шаги и даже совершала небольшие побег от родителей, а Степан купил ей красные туфли-сандалики к празднику.

Нюра одела синее крепдешинное платье с отложным воротничком и прямоугольной брошью на нём же посередине. Плащ сверху, май прохладен. А Наде колготки тёплые, на коленках чуть вздутые, платье под низ шерстяное, и плащик красненький, и бантик беленький на голову, чтобы празднично. Степан в костюме-галстук, куртка нараспашку и кепи на голову. Первое мая.

Было так много красного. А ещё были флаги, буквы, люди, солнце, бодрые голоса из репродукторов и много-много музыки, так много, что больше похоже на треск. Демонстрация двигалась неспешно, и толпа сгущалась уже от Политехнического института, а дальше по улице Ленина, и так до самой площади Девятьсот пятого. Чем дальше, тем плотнее. Шли, ехали, стягивались послушать поздравительные голоса правительства и себе галочку поставить, вот, мол, и у тебя всё как у всех, ты — рабочий, и все они, и все мы — такие же. Мир, труд, май. Аминь.

Почувствовать родственность всех проходящих рядом, знакомость незнакомцев, свою же значимость, нужность своей стране и объединённость всех одним общим делом — великим строительством. Вот так вот все одной дорогой в светлое будущее. Правильной дорогой идёте? Да, товарищи, наши вам поздравления! А вообще, чем бы дитя не тешилось —

И звуки сливались, и уже сложно было различать голоса, и музыка каждой нотой была в виски. И как же удушливо много женщин с «Красной Москвой». Степан потерял сознание.

Каждый день, особенно к вечеру, Степан на стены лез от головной боли. Ему даже казалось, что в голове у него живёт червь, который медленно выгрызает мозг, причиняя эту дикую боль. Ему вообще в последнее время многое казалось. Спасал коньяк, боли немного проходили, но начинались галлюцинации. Крысы, крысы, так много крыс, чертей, гадостей, зубы какие-то отдельные. И он мотал головой «я нормальный-я нормальный-я нормальный» и прятался под стол, но и там мучительные виденья не покидали его.

Он стал надолго уходить из дома, чтобы не причинять боль Нюре с Надей, он приходил трезвый, но вымученный, но плакал, и просил выгнать его, бросить, разлюбить. Нюра-Нюра-Нюра.

— Как бы я хотел, Анют, я бы так хотел, чтобы всё нормально, чтобы Надюшку вырастить, чтобы ты могла себе позволить что хочешь, не нуждалась ни в чём, одним словом, я бы всё... Анют, но что-то... я не знаю, Анют, я как-то разрушаюсь, я не могу жить, Анют. Такой страшен я, даже себе я... ты достойна лучшего, ты же, ты же, Анюта, Нюра, Аня, со-вер-шен-на и как я мог быть... и дай бог, чтобы Надя не в мою породу, дай бог, чтобы как ты, как ты, как ты...

Надя — Анне Фадеевне:

— Всё вышвырну, все его фотографии полетят к едрене-фене! Все! Это у тебя там к нему какая-то любовь мандариновая, а я помню только, как он пьяный за нами с ножом бегал, и глаза его дикие, огромные помню, мне четыре года, первые воспоминания, добро пожаловать в жизнь, Наденька! Что я от него хорошего видела? Что? Что-то ни чё я, мам, хорошего-то не помню. Говно запомнила, а хорошее запомнила, так, что ли? А я тебе скажу, не было хорошего-то, не было, мам! И о нём даже не заикайся, противно слушать. Все вышвырну!

— Отдай, Надя, сейчас же отдай... — Анна Фадеевна хватает Надю за запястья, пытается разжать ей руки. Некоторое время они так борются, потом всё-таки Надя рвёт несколько карточек, а оставшиеся бросает на пол. — Да подавись ты!

Анна Фадеевна собирает фотографии и судорожно складывает их в карманы халата, её руки очень дрожат и губы, и она плачет. Надя на неё не смотрит, Надя собирает разбросанную одеж-

ду в шифоньер, постепенно успокаивая дыхание.

— Только запрячь их, чтоб я больше не видела, слышишь... мама? — отходя понемногу.

— Слышу, — обиженно, по-детски отчего-то.

Степан встал в семь, как обычно, а может он тогда не спал совсем. Он не спеша собрался, оделся, но к еде не притронулся, Нюра ещё спала и не слышала, как он ушёл. От Вторчермета до вокзала ходили дрезины, на них он обычно добирался до работы. И в этот раз он запрыгнул на подножку, он так делал всегда, но отпустил руки с металлического держателя в первый раз. Хотя, может, и соскользнул, но это было единственное, чего он так желал в последнее время. Он разбился об рельсы. И было ему двадцать пять, и больше ему не было никогда, и больше его никогда не было.

Нюра встала чуть позже, ей нужно было в ночную смену. Она работала на заводе, проверяла счётчики, следила за ними. На нетронутый завтрак она не обратила внимания, она отвела Надю в детский сад, потом поехала за сервисом на Уралмаш, там жила одна женщина, которая продавала дефицитные вещи. Потом Нюра пришла домой, приготовила обед, вымыла пол, что-то ещё, что-то ещё, а потом в коридоре раздался звонок, и прибежала Анна Терентьевна с глазами по пятаку.

И пахло выпечкой и кошачьим ссаньем из коридора, и ещё, кажется, соседский мальчик Витька въехал на своём трёхколесном велосипеде в что-то очень важное, которое так громко разбилось, и кричали, там кто-то кричал...

«Убился, он убился, об рельсы». А ещё были слова «размозжило», «кепка рядом», «ворот не тронут», и Нюра даже улыбнулась такой очевидной рифме.

Надя: «А я не люблю запах краски. Ну, это к тому, ну, что многим нравится запах свежей краски, а я сразу этого вспоминаю, ну, папу вспоминаю. Было так душно от этого запаха, тогда почему-то гробы не обивали, а красили красной краской, и пахло жутко. И покойником, и краской, и голова кругом. Я не люблю запах краски».

Нюра была вынуждена отправить Надю к родителям в Корюково, денег было в обрез, она брала дополнительные ночные смены. Но это всё внешнее, Степан не покидал её. То снилось, как они где-то на море, и он живой, и она даже не помнит, что его на самом деле больше нет, а иногда наоборот она кричала ему: «Ты не мо-

жешь тут быть! Ты умер! Умер! Да понимаешь ты!..»

Она была в очередную ночную смену, в здании почти никого не было. Нюра немного задремала, а проснулось от стука в дверь.

— Анют, открой, Анюта, открой мне, пожалуйста, — Степана голос.

Нюра обмерла. Что-то крестила, что-то молила, а над дверью был такой маленький квадратик окошечка, непонятно зачем так придуманный. Степан смотрел на неё в это окошечко, улыбался и жестами показывал ей открыть дверь. Это было под утро, полшестого, а в шесть должна была прийти смена. Эти полчаса Нюра сидела зажмурившись. А потом, когда уже решила открыться, за дверью никого не было.

На следующий день Нюра взяла несколько отгулов и уехала к родителям в Корюково. Там, в Корюкове, в одном доме с Прасковьей и Фадейем всё по-прежнему жили Евдокия, Толяй с Зиной и маленькая Надя. Хозяйство развернули больше, много кур, та же корова Мизюрка, маленького роста и с большим содержанием молока, свиней Фадей не любил, но держал, четыре большущих. В прошлом году пропал Фингал. Потом узнали, что его отловил и съел местный туберкулёжник (некоторые считают, что жирным собачьим мясом можно вылечить эту болезнь), и туберкулёжник, кажется, выздоровел. Но Фадей его всё равно очень избил, хотел убить, вовремя остановили.

Фадей очень любил этого пса, Фингал был ему другом-соратником, подмогой на охоте, понимал с полувзгляда, с полувзвук, тосковал, если Фадей был в разъездах, и был такой сильный, что Нюру с Толяем на санках возил, когда те ещё малявки были. У Фингала всегда присутствовало чувство ответственности за всех членов семьи, он приглядывал за всеми, думали — спит, а он вполглаза наблюдал. Как-то маленькая Надя пошла поиграть к свинкам, а свинки её уронили и начали, что называется, закатывать. Фингал увидел, прибежал, всех свиней отогнал и спас маленькую Надю.

Через некоторое время после смерти пса Толяй принёс домой щенка. Обычного, беспородного щенка, сучку. Назвали Пальмой. Пальма была глупая, и уж точно не годная для охоты, Фадей презирал её за бесполезность и игнорировал. Он теперь уже не занимался заготовительством, он был председателем колхоза, но по-прежнему разводил пчёл, уже не по обязанности, а по привычке, для души, это его успокаивало.

Прасковья как могла занималась воспитанием Нади, разучивала с ней песни, учила пра-

вильно молиться. Она вообще была очень верующей, а когда Толяй вернулся с войны, она пешком прошла до Верхотурья, исполняя обет. На обратную дорогу не хватило обуви и денег, и Прасковья устроилась в Асбесте на завод, поработав там две недели, она купила туфли и отправилась в Корюково. Фадей же был атеист и частенько пресекал попытки жены обратить его в веру, но на чердаке, где он частенько спал после охоты, было гвоздём нацарапано: «Спаси и сохрани».

Нюра приехала с гостинцами, но больше всего от неё ждали батончиков. Прасковья очень любила батончики, в Корюково их не продавали, в Корюково сами пекли хлеб, но он был далеко не похож на те батончики. «Нарезной», «Горчишный», «Нива», и все по несколько штук. Если черствели, Прасковья делала из них сухари, но все они обязательно шли в оборот.

— Вот когда батя помер, так вот мне тоже мерещилось, — Евдокия. — Я младшая была, мама-то с Прасковьей уйдут в поле, а я дом стерегу. Батя мне и примерещился, иди, говорит, ко мне на ручки, а я на печку от него забралась, сижу и плачу. Тебя, Нюра, надо от него отсушить, от Степана-то, и всё ладно будет.

И отсушили. К бабке нужной сводили, та прочитала над Нюрой что-то, настои какие-то прописала и гуляй. И помогло.

12. Станный моряк

СКОРО СКАЗКИ сказываются, но иногда и так же скоро дела делаются, особенно если за дело берётся матерая сваха. Евдокия решила заняться личной жизнью своей племянницы и, как все женщины, склонная к сводничеству, познакомилась Нюру с Андреем.

Андрей родился в Катайске. Его мать умерла рано, а отец, Иван Яковлевич, мигом заменил её другою. Мария Ослаповских была из какого-то там дворянского рода, была вдова с уже двумя детьми. Хорошая мачеха и злой отец, так случилось у Андрея. Иван Яковлевич, когда мог, игнорировал сына, когда не мог — бил, ругал, с глаз долой. Иван Яковлевич любил часы. Настенные, напольные, наручные, — он весь дом заставил часами и часами мог наблюдать за часами, и был он очень пунктуален, фанат времени. И наверное, весь Катайск мог сверять по нему часы.

Был очень маленьким городом, Катайск. Только в тридцатых он приобрёл статус район-

ного значения, но всё же был очень мал. На небольшой и единственной площади правил памятник Ленину, который указывал, куда всем идти, указывал на улицу Победы, за которой город кончался. Поля, поля. Все дома были в лучшем случае трёхэтажные, а в основном по два этажа. Много было деревянных домов, много домов забелённых на украинский манер. Улочки шли нелогично, вдоль каких-то бугорков, косягов. Дома стояли внизу, а огороды располагались над ними, на горе, и, когда начинались дожди или весенние паводки, всё добро с перегноем текло под жилища. Кто так строит? Но благо, так было не везде. Несколько высоких домов всё же имелось. Три капитальных, каменных, покрашенных в пастельное, в центре, которые собственно и создавали фасад площади, и несколько обычных серо-кирпичных в новоотстраиваемой части города. Там-то и жил Андрей с отцом и мачехой.

Потом Андрей вырос и ушёл служить в морфлот. Служил во Владивостоке, Русский остров. Там он завёл специальную тетрадь для записей. Записывал песни, срисовывал миноносцы, корабли, «врагу не сдаётся наш гордый...», и ещё много личных записей, дневниковых, о детстве, об отце. Рефлексирующий моряк. Он был странным моряком, он даже никогда не умел плавать. А когда Андрей вернулся на родину, там, конечно, по-прежнему стояли берёзки вешние, и хотя он тоже столько лет без отпуска служил в чужом краю, но его, в отличие от песенного солдата, никто не встретил. Иван Яковлевич снова женился, и жена его была ровесницей Андрея, он так её ревновал, что отказал сыну в жилье.

Андрея приютила бывшая мачеха, Мария Ослаповских, две её дочери уже выросли и разъехались, так что она была даже рада ему. Она стирала Андрею, готовила еду и всё время повторяла, «что он у неё очень смыслённый, что всё у него будет, немного погодя». У Андрея было лишь четыре класса образования — война, но он очень любил писать, все свои обиды, все свои победы он фиксировал в уже довольно-таки пухлой тетрадке с ошибками.

Андрей и Нюра поженились. Как-то быстро, как-то сразу. И не то, чтобы это была любовь, хотя, скорее всего, так и было, но на тот момент Нюра считала, что стыдно быть в двадцать три года с дитём и не замужем, а Андрею она просто понравилась.

Он был красив, Андрей, похож на какого-то киноактёра, и глаза были карие, и губы вишнями, и что-то было роковое, но это только каза-

лось, это было обманчиво. Он любил тихую уединённую жизнь, чистое бельё, идеально отглаженные стрелочки на брюках, домашнюю еду и жену, которая могла бы всё это ему устроить. Фадею новый муж дочери опять не нравился. Если Степан устраивал хотя бы по хозяйственной части, то Андрей же вызывал уйму нареканий.

«Папа там вкалывает, значит, а этот сидит на завалинке, хоть бы хоба, жуёт себе чего-то. Я ему говорю, Андрей, ты отцу-то сходи помоги. Он идёт. А сам никогда первый не догадается, будет сидеть, будто так и надо. Не было в нём такого... ну в общем, гибкости какой-то в отношениях, что ли».

Нюра, Надя и Андрей уехали в Свердловск. Андрей работал на одном заводе с Нюрой, у них были общие друзья, Лейкины, с которыми они частенько собирались по выходным и слушали Утёсова, Бернеса, Шульженко, пили вино, а поздним вечером шли провожать через парк Маяковского, и там было много весёлых бесед в беседках и гитарного треньканья. И пришла срочная телеграмма из Корюково. Анатолий.

13. Около Боровой

ПРАСКОВЬЯ ВЫЛА, так она никогда не выла. Рвала волосы, ногтями в лицо впивалась, в кровь, и не было утешения. Ведь он единственный из всех её, который так похож на неё, был. Все остальные на Фадея, а он. Такой вымоленный, отмоленный от смерти в войну, мальчик, ещё ведь мальчик, а тридцать только в апреле. Будет?

Зоя с Толяем вернулись из Москвы два дня назад. У её отца, кажется, был юбилей, но всё не имеет значения — -

Толяю, как всегда, напоручали купить того-сего, а один китаец (в Корюкове уже тогда были китайцы!) поручил Анатолию каких-то там шмоток, ползунков-манишек для своих грудных отпрысков. Китаец жил у чёрта на куличках, между Катайском и Корюково, и добраться туда удобнее всего было пешком по ж/д путям, так и короче, и удобнее.

Китаец был очень доволен, но денег за вещи не отдал. Только просил остаться подольше и кушать побольше. Водкой да пельменями потчевал, китаец. И всё не отпускал, не отпускал, а когда уже совсем стемнело, Толяю всё-таки удалось уйти. Был февраль, и была метель, и доро-

гу всю занесло. Только рельсы, только рельсы, чуть блестили только рельсы, и немножечко луны. Развилка была уже рядом, и там сто шагов до дому. Слышно было только вьюгу, контужеными ушами, только вьюгу. А потом сзади яркий-яркий свет. Поезда. Яркий-яркий. Вспышкой. И уже погасло.

Гроб закрытый. Напоследок не увидеть. Лица нет. Как же-как же... нет? Нет? Ну где-то ведь есть, ведь было, ведь правда? Нет.

От Насосного завода, в котором работал Толяй, выделили автобус и всё, что положено в таких случаях. Гроб делали без примерки, без примерки на Толяе. Василий, с которым они прошли войну, вызвался, росту мы, говорит, с ним одного, по мне снимайте, и уж в гроб положился, суеверные рты разинули, не успели и слова вымолвить.

Из Корюково насилу выехали — мело. Кладбище находилось рядом с Боровой, и отпевали Толяя в Боровой. Там, где так здорово было кататься летом на велосипеде, где как в Кижях, только лучше, и только теперь зима, и ещё очень долго придётся ждать этого лета.

Странно вышло, но через две недели умер Василий. От сердечной недостаточности умер. Зато мерки снимать не надо, подсуетился уже.

Зоя не уезжала в Москву, медлила, будто ждала возвращения. Она не плакала, она не говорила его имени — он, его, ему, у него. Она ждала весны, так говорила она себе, чтобы всё стаяло, чтобы «могилку прибрать».

Снег сошёл, могила почти не просела. Кладбище находилось в возлелесье, и там были одни сосны, и грунт там был соответствующий, с обилием песка.

Всё это время Прасковья почти не ела, никуда не выходила и ни на минуту не могла забыть. Однажды её потеряли. Вечер, а Прасковьи нет. Фадей с Зоей тоже глаз не смыкали, сидели на кухне ночь напролёт. Фадея даже знобить под утро начало — весь на нерве. Утром встала Евдокия как ни в чём не бывало:

— Чего сидим? Кого ждём?

— Так, едрит твою налево, дура старая, сидим! — напустился Фадей. — Это тебе всё до одного места, мать-то наша не вернулась вчера, что б такое было? Я не знаю, совсем не знаю...

— Едрён-матрён, не вернулася! Так она ж вчера к Толяю на кладбище собиралась...

— И ты молчала, видела ведь маюсь... спит она, посапывает...

— Так я и сказала. Ну да, сказала... Или не сказала?

— Вот то-то и оно... Ну чего, надо ехать, мать, небось, всю ночь там, может, хоть мозгов хватило до Боровой до церкви дойти.

— Там-то рядом, — облегчённо вздыхая, Евдокия.

— Молчи уж.

Фадей застал жену спящей. Земля на месте могилы ещё не успела покрыться настом сосновых иголок, на ней и спала Прасковья. Волосы, одежда, под ногтями — всё было в земле. Чумазая и утомлённая, она спала, обняв могилу руками, и только в этот момент, казалось бы, обрета-ла временный покой.

— Паша, вставай давай, пойдём, слышишь? Давай вставай, поднимайся... потихоньку, вот так вот, — Фадей вытаскивал из её волос землю, отряхивал платье, сжимал крепко-крепко её руки:

— Холодные ж до чего, мать, холодные ручонки-то...

А Прасковья смотрела на него дикими, синесиними и молчала, молчала, будто вовсе не уме-ла никогда говорить.

Казалось бы, время лечит, но дальше было только хуже. Прасковья почти каждый вечер тайком уходила на кладбище, приносила еду Анатолию, а Фадей бегал за ней, и уносил её оттуда, и ничего не мог поделывать — всё повторялось.

Евдокия, горадая на разные авантюры с наговорами, отворотами, столько еды заговаривала, а всё впустую. Прасковье даёт, та чует — «ты меня от сына отвадить хочешь, нельзя так». Тогда Евдокия позвонила Нюре в Свердловск и попросила срочно приехать, батонов привезти и варенья смородинового (у них смородины своей не было, а Прасковья очень её любила). Нюра всё привезла, как просили, снесли они с Евдокией гостинцы бабке знающей, та что-то над ними прочитала и готово.

Уж очень охота было батона да со смородиновым, Прасковья держалась вечер, но потом сдалась и поела. И сразу:

— Что вы наделали!

Все переглянулись.

— Вы же мне подсунули... как же это! Я ведь каждую минуточку о нём думала с тех самых пор, так и стоял у меня перед глазами, так и стоял, а тут... с этими вашими вареньями. Что вы наделали! Вы нашу связь оборвали, с сыном моим родненьким и оборвали... — и руками всплеснула, как встарь, живая уже.

А у Нюры и Андрея родился мальчик. Назвали Анатолием, так просила Прасковья, так любила его за это.

Надя же была очень самостоятельным и непослушным ребёнком. Как-то она проходила мимо музыкальной школы и увидела, что идёт приём, Надя зашла и поступила. Когда же комиссия поинтересовалась, где её родители и сколько ей лет, возникло много вопросов. Потом она привела маму, и всё разрешилось. У девочки был идеальный слух, предлагали идти на скрипку, но мама Нюра посчитала, что баян будет получше, тем более что менее затратно, и тем более, что это было более востребованно, в компаниях, например, по праздникам разным, например. Андрея Надя называла папой, потому как память её началась именно с него, а то, что было до, она помнила смутно, — детская амнезия. Вскоре Надя уже вовсю наяривала на баяне и классику, и песни, много песен, но с завистью смотрела на девочек со скрипками, аккордных, в отглаженных юбочках тик в тик, немнущихся тоненьких юбочках. У неё же были большие юбки-воланы, чтобы с баяном сесть не срамно. И чем выросла Надя, тем больше ненавидела баян.

14. Торжество и пахло ладаном

DOORS «RIDERS on the storm» на новеньком советском магнитофоне по имени «Весна». Толя. Он ехал с родителями на-сад, он ненавидел этот на-сад, шесть соток, которые даже очень хорошо, которые так не идут юноше, увлекающемуся западной музыкой, запрещённой литературой и забавной одеждой, чересчур цветной и вызывающе джинсовой. И как же ему, и с волосами до плеч, ведь мальчик же, не девочка, не стыдно. Но стыднее было ковыряться в земле. Джим Моррисон или Леннон так не умеют, и это прекрасно, и от этих мыслей Толя злился на родителей, и включал музыку уже прямо в машине, а если не нравится, то у него был уже заготовлен ответ: остановите, я сойду. Но отец молчал, хоть и не нравилось, но Андрей молчал, уже предполагая выстроенный алгоритм сына. А Анна Фадеевна сдвигала брови, прислушивалась.

— И понимаешь ты, и о чём?.. Толь, а, о чём поют-то, понимаешь ты? — пыталась она сына, недоумевающи.

— Угу.

— И ведь столько музыки, и ведь по-нашему-то хорошо поют, по-русски-то, ведь поют! Не то, что тут, не понятно ково!

— Ма-ам, — со знанием дела, немногословен, и только укорительный взгляд.

— Да-а, знаю, думаешь себе, ничего-то мать у тебя не понимает, думаешь, больше знаешь... (Опять прислушивается.) Ну скажи ты, где тут музыка, ну где?!

— Ань, отвяжись от него, едем себе и слава богу, а то он вон какой, не скажу какой... обидчивый, когда выгодно, вот какой, возьмёт да и домой удерёт, а у нас полкартошки не выкопано, надо успевать, пока дожди не зачастили.

С возрастом Андрей стал любить работу в огороде, сам построил домик в саду, мебель всю сам мастерил и даже крестиком вышивал. Вышил как-то огромную собаку, застеклил, раму сбил, в комнате повесил, над диваном повесил, Анна Фадеевна терпела два дня, потом не выдержала:

— Андрюш,ними ты на хрен эту пакость.

— Но, Нюр, я же... — ему нравилась собака.

— В гараже повесь, ты там всё равно больше, чем дома, находишься.

И он отнёс свою любимую собаку в гараж.

Андрей по-прежнему любил одеваться с иголочки, любил порядок в доме, сам же его и наводил — привычка, — как только начали жить вместе, Анна Фадеевна зашивалась на работе, а после у неё была вечерка, так что на домашние дела времени не оставалось. Она училась прилежно, как могла, а Надя ей иногда помогала, по русскому помогала, по литературе, кое-что своими словами, чтоб быстрее. Маленький Толя редко видел маму, обычно по вечерам, обычно спящую уже. А баба Паша подходила к нему, трепала белёсую голову — «но мама спит, и я молчу», эту фразу она повторяла очень часто, а иногда читала ему всё стихотворение. А когда Толе удавалось проскользнуть в мамину комнату незамеченным бабушкой, он долго смотрел на маму наклонив голову и шептал про себя — «ну проснись, ну проснись, ну поиграй со мной». Иногда, сам того не замечая, он говорил это вслух, и мама просыпалась, и обещала на выходные, и всё, что не успевала за неделю, обещала на выходные, и Толя ждал этих выходных как чего-то очень-очень многообещающего. Но он боялся того, что однажды мама может не проснуться, как деда, деда не проснулся, когда Толе было четыре года — -

Был март, и в Катайске была встреча ветеранов Красных орлов. Фадей очень радовался, так наряжался, у него имелось два пиджака, кото-

рые ему не шли, и один, в полосочку, удачный, который когда-то ещё привозили ему Зоя с Толем из Москвы, его и одел. И сапоги со скрипом, новенькие, чтобы ух как заплясать, чтобы все видели, удалой ещё. Он боялся показаться старым, боялся, чтобы кто-то заметил, если болит сердце, ноги, так цеплялся за молодость, так бесполезно украшенную временем, так очевидно замаскированную памятью. Он так отплясывал, так смеялся, так пил, как хотел, чтоб казалось, что всё в порядке, как знал, что надо запомнить и надо запомниться, как отплясывал. А потом он приехал в Корюково, с блаженной улыбкой, потом обнимал Прасковью, ещё слегка в пьяной одури, потом держался за сердце, а потом заснул и умер под утро. Что ему снилось?

Тихая дрожь, кончики пальцев ещё находят тёплые жилки на нелепо спящем, и она уже вдова, и она уже старая, она бабушка, она может притуплять, когда надо, чувства, чтобы младшим не так страшно, и ещё находить силы утешать их.

В доме пахло лампадным маслом, ладаном, елью, и зеркала были занавешены чёрным, и было в этом какое-то торжество, и пахло покоем, но не покойником. И она всё молилась, Прасковья молилась, и больные старчески колени не щадила, всю ночь на них простояла перед образами, и сама была немного торжественная, будто к чему-то готовая, сильная и смелая.

Утром маленький Толя зашёл в комнату, где спал дед. Дед не был похож на себя, какой-то очень далёкий и немного неестественный.

— Деда, вставай, утро же! — И Толя тыкал деда в плечо пальцем. — Деда, ну вставай!.. — Потом Толя подумал, что дед с ним играет и нарочно притворяется, что спит, хотя на самом деле всё слышит. — Ну, не смешно, деда, хватит дурака валять, деда, слышишь, деда, деда Фадя, ну деда же?

Толя щипал мёртвое тело, пытался открыть деду веки, но всё было белым. А потом пришли взрослые, накричали, больно оттащили за руку, и соседская девочка сказала Толе: «Ты дурак, твой дед больше никогда не проснётся» и показала язык, всезнайка, она тоже не понимала этого, она не должна была понимать этого, дети должны быть беспечны и грустить, только когда в карманах нету печенья или дождь помешал прогулке с друзьями.

Вскоре было решено продать дом и переехать Прасковье с Евдокией жить к Нюре в Свердловск. К тому времени Нюра с Андреем

дали отдельную трёхкомнатную квартиру. И хотя из-за обилия трамвайных путей рядом было непривычно шумно, но вскоре привыкли. Прасковье с Евдокией трудно было в городе, тянуло поковыряться в земле, ведь так с детства приучены, а что делать в этих квартирах? Прасковья пекла всё время, — шаньги со сметаной, творогом, ватрушки, вареники, пироги с рыбой, с яблоками, но сама любила, что попроще, — картошка по-ленинградски, молочное и батоны, дорвалась душенька. На пасху, она всегда праздновала пасху, даже когда было нельзя так делать, Прасковья пекла куличи. В доме были специальные формы для куличей и ещё была форма в виде черепахи, получался такой черепаший кулич с изюминами-глазами, всем очень нравился. Работу по дому делали напару с Евдокией, а когда появился сад, Евдокия с радостью бегала на рынок продавать соленья, овощи, астры разные. Она любила посплетничать с бабами на рынке, все её знали, за острый язык и обилие шуток, её ждали, а когда она не приходила, справлялись о ней друг у дружки, говорили её словечками.

15. Славик

ТОЛЯ БЫЛ в основном на бабушках, мать с отцом занимались своим будущим, сестра уже влюблялась в соседских мальчиков, а брата игнорировала, мелочь. Толя много проводил времени на улице, с ранних своих нежных пор он самостоятельно излазил все окрестности своего района. В доме напротив жили Колтышевы, мать с отцом были алкоголики, отец злой, мать — глупая и добрая. Их хромосомы сошлись в странных пропорциях, старший сын, Сашка, был глупый и жестокий, а ровесник Толи Славка был добрый и тоже глупый. Толя дружил со вторым. Да, был ещё самый старший брат Сашки и Славки Колтышевых, это был брат, которого никто никогда не видел, потому что он всё время был на работе, а потом он всё время был в тюрьме.

Так всё пропилось у Колтышевых, что мебели совсем не было, был хлам, один хлам, но ещё было радио, и был кот, который только числился в этой квартире, пропитание он искал исключительно вне своего жилища. Был пустой холодильник и всякие гады, которые так любят грязные квартиры пьяниц.

Когда Славка приходил за Толей, Прасковья не отпускала их сразу, она отчего-то долго смотрела на мальчика-хулигана, такого развесёлого с Толькой и с ребятами. Толя тогда ещё не по-

нимал, в чём дело, ведь Славка весёлый и отчаянный, и почему баба Паша всё время глядела на него с такой непоправимой тоской и всё время старалась накормить Славку побольше. Или спрашивала: «Ты к Славику?» — к кому же ещё, к Славику, к нему. «Возьми вот ему пирожков передай, яблоки там ещё, леденцы, на вот», — подавала Толе кулёк с пайком, крестила и в окно смотрела. И когда Толя выходил во двор с кульком еды, а Славка уже ждал его у песочницы, ковыряя огромной палкой ровную жёлтую насыпь, и когда Славка подбегал к нему и жадно глядел на кулёк, предполагая, что там может быть, Толя знал, что в окне стоит бабушка и смотрит своим печальным взглядом и, наверное, крестит их. И Толя злился. Злился на бабушку, которая отчего-то так влюбилась в Славку, нет, Славика! Как она может, когда у неё есть свой внук, он, Толенька, а она на него смотрит обычно, прикрикивает иногда, чтоб с ногами грязными не проходил, ел аккуратно, съедал всё. А тут «Славик».

— Тебе вот баба передать велела, там это... пирожки, дюшес и яблоки, кажется.

— Пасиб, — глаза большие, радёхонек, — я эт... я щас тогда... домой снесу, что ли.

— Ага, давай.

— Спасибо-спасибо-спасибо, — и шею немного в плечи втягивает, маленький ещё, а уже научился именно так говорить спасибо, так чересчур.

И Славка убежал домой, и его долго не было. Толя в это время уже успевал сделать пару секретиков, забыть о них, задавить жука и плоским камнем переверачивать его на бочок, а потом так же долго ковырять большой палкой песок, до тверди, ну где же этот несносный Славка!

Толя не знал, что пока у Колтышевых в доме еда, выхода нет. Как-то тот призрачный самый старший брат, который всё время работал, с зарплаты накопил много-много еды, полный холодильник. Колбасы копчёные, варёные, вредные, всё равно, сыры, сырки, сладости, выпечка, винограды, апельсины. Из дома не выходили два дня, пока всё не съели. Выйти боялись, следили друг за другом. Если бы вышел один, другие набросились бы на еду и съели всё без него. Как в стае, как люди, такого не знал Толя, знала бабушка, так и глядела. Евдокия была менее чутка и не желала видеть Славку у них дома, и когда бабы Паши не было, а была баба Дуся, то Славик дальше порога не проходил. А потом на приглашение Толи пойти к нему Славка уже заранее осведомлялся:

— А у тебя какая сегодня дома бабушка, добрая или злая?

— Добрая, баба Дуся на рынок ушла

— Тогда пошли.

А Прасковья носилась с едой, потом шла в комнату, рылась в своём старом сундуке, разбирала какие-то вещи, и, когда Славка собирался уже уходить, она звала его в комнату, просила примерить штанишки, рубашки старые взрослые, Толино пальто, которое он прошлой весной извозил в синей краске.

— Это ничего, Славик, пальто хорошее, бегать-то тебе всё равно и там почти не видно, под башлыком-то.

А Славик кивал и улыбался — «спасибо-спасибо-спасибо».

16. Шуба

ТОЛЬКО НАЧИНАЛАСЬ весна, и было уже всюю тепло, но Исеть ещё стояла льдом. Ребята гуляли во дворе, как вдруг Славке пришло: «А пойдёте на речку!» И все согласились. Снег на реке уже приобретал прозрачность, и рыбаки не сидели в эту пору, хотя в этих местах они вообще редко сидели, это было место загаженное, рядом с заводом. По другую сторону реки шёл сосновый лес, за которым находился ещё один завод, радиозавод, и огромная свалка от этого завода.

Ребята перешли на другую сторону, взобрлись по горе наверх и послушным гуськом шли вдоль реки по заумным кривостям местной природы. Горы выдавались небольшими, но забавными формами, на склонах уже виднелись проплешины, в которых копошилась жухлая прошлогодняя трава. Кое-где ни травы, ни снега не было, а были серые камни, огромные камни, которые летом особенно зияли, малахитовые серебряные горы. Мальчики отправились в сторону слоногоры. Она действительно очень напоминала слона, слона в профиль, слона, из которого торчат сосны. Казалось, точно слон распластался на берегу реки, положил свою голову на землю, плашмя хоботом, или спит, или грустит. Ребята подходили уже к самому краю хобота, дальше него заходить мало кто осмеливался, там шла речка-горячка, которая никогда не застывала. Это был слив переработанной механизмами завода воды, большущая труба-тоннель выплёвывала из себя горячую жидкость, и ещё совсем прошлым летом, в пору проблем с горячей водой в квартирах, многие из соседних домов ходили сюда стирать. Но сейчас здесь было пусто.

Самый младший из ребят и самый домашний из них Пашка Куницын, прозванный Пунь-

кой, раздухарился с чего-то и бежал вперёд, как вдруг горы кончились, и он провалился под лёд. Пальто и сапоги быстро потянули на дно, он хватался за лёд, но тот ломался, ребята тянули ему палки — не помогало, потом они подошли ближе, и Толя со Славкой тоже провалились в воду, в подмоге остался один беспомощный Вадик, он очкарил по сторонам и тоненько кричал «помогите», хотя видел, что до ближайших людей целая речка и ещё чёрт знает сколько шагов.

— Тяни сюда палку, дура, — кричали ему ребята. Он суетился, искал палку, которая лежала перед ним. Потом всё-таки удалось выбраться Славке и даже Пуньке, Толю же снаряжала бабушка, одевала тщательно, весною легко простыть, и шубу заставила, все в пальто, а он как дурак. Но сейчас, оставшись один в этой воде, Толя думал о смерти и винил во всём бабушку. Ребята протянули ему палку, и хоть выбраться Толя не мог — лёд ломался, но он крепко держал сучок руками, и, пока Славка ушёл за подмогой, Толя думал, что сейчас утонет и как же будет плакать бабушка и будет знать, что он был прав, когда хотел одеть пальто, и пусть бабушка будет мучаться и корить себя, но трагически непоправимый конец оставит её безутешной в своей вине. «Ты убила внука», — скажут ей, и все будут знать и говорить: «Надо было слушать внука, надо было пальто». Потом Толе стало так жалко себя, и ноги чувствовали какие-то ледяные течения, и Толя ревел белугой, а ребята, заикаясь, повторяли, что сейчас придёт подмога, смотрели в сторону другого берега, и Толя смотрел туда вслед за ними, и так было далеко бежать Славке, и Толя плакал ещё сильнее, навзрыд, выкрикивая какие-то свои завещания — «и бабе Паше передайте... бабушке передайте, что не держу зла, она мне лучше хотела... шубу... она не знала... я не держу зла, я её прощаю!».

Славка добежал, не чуя ног, по пути прося помощи у встречных, он добрался до Толиного дома. Двери открыла злая бабушка, баба Дуся:

— Толи нет, — и хотела уже закрыть дверь.

— Да знаю я! — запыхался, шапкой в руках машет. — Там это... под лёд он провалился... а шуба... мы все выбрались... А он тяжёлый... шуба... я-то вот... в пальто... баба Паша мне дала... а он там... Толька-а-а, — и Славка разревелся.

— Ты ещё поплачь! Харэ сказала, заморыш казанский, айда, веди меня туда.

Евдокия была покрепче своей сестры, была б на её месте Прасковья, у той бы ноги отнялись, но Прасковья куда-то ушла.

— Баб Дусь, вы палку возьмите какую, а то там короткие все, если длинную-то, поди выловим.

Евдокия схватила швабру, накинула пальто, шаль, ведьма и только.

— Мы туда не хотели, но так вышло... и... — объяснял по пути Славка.

— Повякай мне тут, повякай! От тебя всё! Не хрен водиться с такими вот, как ты, помрет — своё получит, засранец! Думаешь, плакать буду? Хрен, вот таким вот и не жить, и правильно, бог видит, нервы наши с Прасковьей видит! И не буду плакать.

Навстречу шли ребята, шёл в мокрой шубе и Толя, глаза вытирал, слёзы. Увидел бабу Дусю со шваброй, и то ли к ней бежать, то ли от неё, так и встал, как вкопанный.

— Ну чё стал, глазёнки-то разявил, — подбоченилась, вздохнула прерывисто, с облегчением. — Драть тебя буду, во, швабра по твою душу, паразит! Думаешь, я спасать тебя шла? Добивать я тебя шла, пользы-то нуль, одни вон расстройства. Идёт он, слёзки вытирает, а как о наших слезах ты не думал? Материных слезах — не думал? Бабы-Пашиных ты тоже не думал? Так если мозгов с яйцо куриное, не хрен тебе, едрит твою налево, землю коптить! Идёт он, слёзки утирает, головозадый, господи!

— Баба Дуся, — разревелся, обнял её. — Прости меня, пожалуйста, ну прости ты меня, ну баба, бабочка.

— Идет навстречу, значит, мокрый весь, воробьёныш да и только, слёзки утирает, господи ты мой, так всё защемило у меня, — рассказывала вечером Евдокия Прасковье. — Наорала я на него, ну что могу поделывать, на нервах же вся, а жалко самого до слёз, жалко-о, — причитает. — И ведь не могу, и поорать на него надо, шваброй, сказала, добить его шла! Ты представляешь, Паш? Как такое, он ведь... нет мне прощенья, нет... (Переменившись в голосе.) Ну это все Славка, паскуда мелкая, он надумил мальчишек, Куницын тот тихий, сам бы никогда, а про Вадика я вообще молчу, это всё Славка-гадённыш!

— Злая ты, Дуся, откуда в тебе? Он же мальчик, ребёнок ещё, такие все они.

— Ага, все... Я злая? Я не злая, Паш, я справедливая!

— Ну-у, справедливая, иди вон теперь ставь внуку горчичники, справедливая, шваброй она хотела...

17. Дура

А У НАДИ БЫЛИ заботы поважнее. На девять лет старше брата, она училась в восьмом классе, училась хорошо, без троек, особенно ей удавался русский, литература и английский, ну и баян, который она к четырнадцати годам успела возненавидеть до глубины молодого ранимого сердца. Она раньше всех в классе стала похожа на женщину, и поклонников у неё было очень-очень. А ей нравился Лёша Кадочников из дома напротив, он жил над Колтышевыми на втором этаже.

У них была большая семья, у Кадочниковых, детей было пятеро — Даша-Нина-Галя-Валя, вообще что-то в этом духе, и один сын Лёша. Он был темноглазый долговязый спортсмен, пловец. Любил книжки про приключения, фантастику любил, хорошо играл в шахматы и очень решал задачки по математике. С Надей они учились в разных классах, но всё свободное время были рядом, по углам, такие нежные, такие оба друг другу первые, единственные, тем и прекрасны.

Как-то некстати у Нади случилась неприятность с мозжечком, она периодически теряла координацию и падала, начались припадки злости, она часто истерила и рыдала без повода. Дома у них жила кошка Глаша, ласковая и бесхарактерная, и случилось, что Надя с Толей никак не могли поделить её меж собою, причём в силу возраста Толе можно было уступить, но Надя топала ногами, кричала, чтоб он сейчас же отдал ей Глашу, иначе. Надя побежала на кухню, схватила все ножи, которые были в ящике, и с ожесточённостью обиженной тигрицы гонялась за братом и кидала в него ножами. Всё обошлось, она ни разу не попала, а вот Глашу баба Дуся унесла. Потом узнали, что она её никому не отдала, как говорила, кому нужна взрослая кошка, а выбрасывать на улицу так жаль, так жаль, что лучше утопить. Евдокия утопила Глашу в реке. Прасковья и Нюра ругали её, в чём свет стоял, но такова была цена детских ласк. А за Надей пошла слава психической. И мать Лёши Кадочникова запретила сыну общаться с душой. Было-то ему пятнадцать, и маму он слушал, а вскоре Надю положили в больницу, голова её всё болела, да ещё и первый мальчик-мужчина, такой единственный, такой не её, а маменькин, совсем перестал замечать. Всё это обострилось к лету, к экзаменам.

- Тётя Аня, а как Надя? — мимоходом Лёша.
- Да ничего, ты бы сам навестил.

А Лёша смотрел в сторону, — и хочется, и колется, и мама не велит.

Надя часто спрашивала, не видел кто из родных Лёшу, что говорил, как выглядел. Но ей ничего не отвечали.

А потом, когда Надю уже выписали и она сдавала экзамены позже всех, в школе случайно встретился Лёша, а он прошёл мимо-мимо-мимо, будто незнакомец, и как жить дальше, и она спрашивала маму:

- Ну почему, почему он не видит меня?
- Мать всё, мать ему не велела, так говорят.
- Кто говорит?
- Бабки на лавках.
- А почему, почему, почему?
- Говорит, мол, он у неё два метра росту, а ты с ноготок, детей, мол, как рожать-то ему будешь.

Каких детей, причём здесь это и только ли это, недоумевала Надя. И она была права, потому что мать Лёши запретила не поэтому вздорному поводу, а потому, что Надя дура-дура-дура!

— Ну почему, почему, почему он сам, мам, сам не решит?

А мама Нюра в ответ только пожимала плечами и говорила, что так должно быть, что сейчас ей, Наде, надо хорошо учиться, чтобы быть независимой и сильной, что потом она поймёт, какой это пустяк, хотя сама до сих пор иногда плакала о Степане, и ни разу, с тех самых пор как он умер, Нюра не была у него на могиле, обиделась, жестоко обиделась, что он бросил, и так трудно было простить ему, и он ей даже уже не снился. И как он может, даже не снится, как может! Впрочем, жизнь с Андреем её устраивала, он не поднимал на неё руку и позволял быть главной в семье, слушался, жалел, а это так важно, чтобы жалел, это почти люблю, даже больше, так было ей. Когда они только-только купили машину, молочную копейку «Жигулей», Андрей с Нюрой поехали в Катайск навестить Марию Ослаповских, мачеху Андрея. Он не терял с ней связи, помогал ей и звал в гости, но она никогда не приезжала. Остановившись возле местного магазина, Андрей выбежал первым, чтобы открыть Нюре дверцу, так он не делал никогда, и это сразу показалось подозрительным, — он редко проявлял на людях заботу и нежность к жене.

— Подыграй мне, — шепнул на ухо Нюре. Зашли в магазин, а он её за талию, в шею целует, она его за запястья нежно-нежно, что будешь, мармелад? Зефир? Монпансье?

Потом выяснилось, что продавщицей работала та, что отвергла когда-то Андрея, фи, гол

как сокол, ненадобно такого добра. А теперь он, такой чинный, при костюме новом, галстук в цвет, ботиночки до блеска, в новой машине с красавицей женою ему под стать, а она всего лишь продавщица в магазинчике близ насосного завода, ласки от рабочих только и видит, не видит, шлюха провинциальная, а какая была, барыней ему, выкуси, барынька. Он очень помнил этот момент, так помнил, и «гол как сокол» тоже помнил, и он не любил Катайск, и никогда не навещал отца.

Евдокия, склонная к разным разностям, шаманствам, повела Надю отсушивать к одной знакомой бабке, к той же бабке и Кадочниковать уже успела сводить своего Лёшу, тому помогло, а Надя вроде бы и не убивалась так, зато начала усиленно перебирать юношей, и всё-то ей не нравились, а бабки дворовые проблядью звали. Но она всех отчаянно сравнивала с первым, и всё было не то-не то-не то, и только жажда обладания преобладала в тесной для всех них душеньке маленькой женщины.

Надя была слегка полноватой, с крутыми бёдрами и роскошными каштановыми волосами, пахнувшими ромашкой и чём-то нежным, чём-то неуловимым, чём-то ещё. Она была не то чтобы красива, скорее обаятельна, скорее черешня с полынью, горька-горька, и это было даже больше красоты, и это так влекло к ней. А в полупрофиль она походила на Люсьену Овчинникову, и улыбка тоже, но краше, краше, сто раз.

Баян она вскоре куда-то выбросила, или подарила, или продала. Школу закончила так себе и пошла на секретарские курсы, машинистка. Хотела в «Ку-ку», так называли кулинарное училище, но потом передумала, ей вдруг привиделось, что там сплошные дуры и толстые, и толстые дуры. Она любила тонкий шёлк, платья в мелком калейдоскопе дивных цветов, и чтобы подвески, и чтобы серьги с рубинами, и туфли на каблучке повыше, и она очень любила красиво одеваться, и у неё даже были к этому способности, но душилась она погибельно, сильно и наповал, шлейфом по аллее — Надя идёт.

Она устроилась на радиозавод машинисткой, стучала наманекюрными ноготочками, чай с конфетами пила, ложечкой по блюдечку, вам сколько сахара? А я вчера фильм новый видела, а как вам Зоино пальто? Да-да, неплохо ей, только всё равно у неё ляжки полные и нос с горбинкой, а пальто хорошее, очень хорошее. По чём, Зоя, пальто брала? А где? Ты прекрасна, иди чай пить. И всё в этом роде, бесконечную мутью.

Летом Надя с матерью отдыхала в анапском профилактории и познакомилась с милым мальчиком из молодого ещё Нижневартовска, инженером по имени Костя. Он приехал к ней в Свердловск в начале сентября, в непокорных кудрях, смущённый и влюблённый. Жил в гостинице, каждое утро приходил к Наде, смотрел, боготворил, читал умные стихи, какие-то пуштышные стишки, он надоел ей.

Зато с Толей они нашли много общего. Толя рассказывал ему про их засаду в парке, там, где никто не подумает, там груши дикие растут. Потом они даже вместе прикручивали канат и делали тарзанку. И ещё Костя научил его делать арканы, даже на бегу теперь, порядком измотавшись, но изловчившись, Толя мог набросить петлю на предполагаемую жертву, и все ребята мигом оценили такое преимущество, ходили за ним цыплятами — «покажи-покажи-покажи».

И даже в последний день, который решал всё, всё для Кости, Надю еле уговорили сходить с ним на Плотинку, а потом кататься на лодках.

— Я тоже пойду с вами! — оттопырив губы кричал Толя, а баба Паша запрещала. — Я тоже пойду!

— Прасковья Петровна, да отпустите вы его с нами, ей-богу, ничего не случится, я обещаю за ним следить, — убеждал Костя. — Да он у вас и сам послушный, да, Толька?

Толя радостно кивал и его отпустили. Но на самом деле Прасковья не отпускала Толю по другим причинам, ей нравился Костя, и она хотела, чтобы он, наконец, объяснился с Надей, чтобы всё было как надо, но раз Костя сам попросил, стало быть, и ему уже нечего сказать Наде наедине. Ещё утром Толя слышал разговор Нади с бабой Пашей по поводу Кости, и Надя была несносной и злой, и Надя не чувствовала совсем-совсем ничегошеньки.

— Он ведь к тебе приехал, парень-то. Надь, так не поступают.

— А я при чём, не звала, сам приехал, и вообще...

— Сам не сам, а надежду ты ему подала. Такой парень, и с образованием высшим, и читает много, и симпатичный, и весёлый, добрый, с Толькой вон как сдружились, дети от него без ума, а он от тебя... А вчера как нехорошо вышло, он к тебе пришёл, а ты гулять ускакала, без него ускакала, разве так можно, Надь?

— Не знаю я, не нравится и всё, баб Паш, неопрятный он какой-то, не следит за собой, ходит в чём попало, рубашки у него не глаженные все.

— И только?

— И только?! Для меня это показатель, это очень важно, чтобы мужчина мог сам следить за собой, для меня очень важно. Это ты, баб Паш, в деревне выросла, и тебе абы какой, а я так не могу.

— Что значит абы какой? Дед твой абы какой? Да таких сейчас уж нету, не рождает земля таких-то, нету им раздолья, мелочь одна. Но вот такие, как Костя, так любо глядеть, и ни черта ты, Надька, не понимаешь, и с говном ты каким-нибудь и останешься, разборчивая... (Собираясь уходить, но ещё кипящая вовсю.) И я тебе скажу, едва ли это будет по любви, с говном, и по случайности, ты помяни, я тебе зла не желаю, но ты дура, и говорить тебе, что об стенку... А знаешь, почему не по любви? Потому что любовь для тебя не то-не то, Надь, представление твоё не то. Что у тебя любовь, то живёт один сезон, и с годами быстро выветривается... И не обижайся, добро б я ошибалась, Надя.

Надя беленилась, краснелась, кипятком слов изнутри обжигалась, и только воздух губами, а потом расхохоталась и ушла. Она редко ругалась с Прасковей, с матерью — запросто, да со всеми запросто, а Прасковью всегда боялась. Сгорбленную маленькую пожилую женщину, с жилистыми руками и глазами синесиними, которые всегда смотрели внутрь, даже когда было стыдно, чтобы кто-то туда смотрел, они всё равно смотрели и больно ранили, её глаза.

Был вечер пряничный, такой же румяный закат, подёрнутый славною глазурью тумана над рекою, над Исетью. За Плотинкой она давала изгиб и заметно сужалась, кроткая, боялась заполнить собой город, боялась теснить его, узенькая-узенькая, душевная, но чуть дальше, будто освободившись от оков, она не стеснялась быть громкой и пафосной, и дерзко превращалась в Верхне-Исетский пруд. И был сентябрь, и было ещё тепло. Лёгкие рубашки и чудные кремово-синие платья. Студенты, шедшие с улицы Ленина, те, что брали лодки, чаще всего были романтиками из УРГУ, а молодые люди из Политехнического обычно шли в парк Маяковского или же просто прогуливались с гитарами вдоль Плотинки, и они казались более беспечными, не обременёнными странными знаниями, которые были ведомы студентам УРГУ.

Надя мало общалась с братом, но теперь была даже совсем не против, чтобы он заполнял пустоту между ней и Костей. Толя трывдел не умолкая про какой-то там город будущего, про

то, как они со Славкой нашли настоящее золото в овраге за дворами, и что, возможно, там есть ещё больше, что, наверное, там клад, забытый кем-то белым во время революции. А потом Костя купил ему мороженое, петушков на палочке, и на некоторое время воцарилась сосредоточенная тишина. Они плыли втроём, Костя держал вёсла, а напротив сидели Надя и Толя. Приятно угасало солнце, и по воде растекалось его тёмное золото, золото было и в деревьях, листва-листва, не везде, и это придавало особую драгоценность ускользящему моменту. Бабье случайное лето.

А Толя ел мороженое и думал о том, что они с Костей вполне могли бы вместе пересечь океан, быть Фоггом и Паспарту, Робинзонами, Гагаринными, и в космос могли бы, ах, как в космос, вот только Надя, злая Надя. Потом Толя нелепо говорил сестре про то, какой Костя опрятный сегодня, как у него рубашка бела и совсем не измята, и про то, что Костя всё умеет, и даже арканы делать умеет. Так заметно, так явно было это его намеренье выставить Костю в лучшем свете, и так бесполезно и наивно, что Косте с Надей становилось стыдно, они не смотрели друг на друга, а Надя немного краснела, или же так невозвратно падал свет уходящего дня. Чувствуя тщетность стараний, Толя вытягивал шею, чтобы заглянуть Наде в глаза, но вечер гас, гас. И уже когда Костя провожал их домой через весь город, Толя шёл, молча насупившись, а у самого дома вырвал руку из Костиной ладони и рванул в подъезд, и видеть его больше не хотел, и Надю вместе с ним, и Надю особенно.

На следующий день Костя уехал домой в Нижневартовск, а потом пришло письмо, лично Толе, ни Наде, ни маме, ни папе, ни бабушкам, а ему лично, и кто бы мог? Костя!

В письме была фотокарточка, где он, размахивая руками, что-то динамично обсуждал, странное фото, а сзади было написано корявым почерком: «Будь сильным и смелым, люби своё дело, отчизну, товарищей, мать. Не сломят ненастья твой дух, это счастье, как сердце велит поступать!» и ещё «На добрую память моему другу Анатолию. От Кости». Обратного адреса не было. После этого глупого послания Толе стало даже легче, ведь в письме Костя был совсем незнакомцем. В этих патриотических, ничего не значащих строчках говорил какой-то совсем чужой голос, может быть, Толина обида на сестру, на себя так мешала, но всё-таки ему казалось, что отделаться подобными строчками позорно, и Толя выбросил фотографию в мусоропровод.

18. Бабочки

БАБА ПАША отправила Толю на водную станцию, чтобы тот набрал родниковой воды, Прасковья опасливо относилась к воде из крана, которая так часто пенилась белой мутью и откровенно пахла хлоркой. Толя уже набрал два небольших бидона, которые дала ему бабушка, и потащил домой, до краёв набрал, и было тяжело, но до краёв лучше, чтоб бабушке помощь, чтобы хороший мальчик. Сзади послышался хриплый и нарочито низкий голос Сашки Колтышева, ему было где-то около четырнадцати, он был могуч для своего возраста, носил очень-причень широкие штаны и брил налысо большую свою голову с небольшой шишкой на затылке. Сашка часто задирает Толю и вообще с ними, мелкотой, особо не церемонился, в лучшем случае отделялись щелбанами, его боялись.

— Стоять, малыш, попить дай!

Толя медлил и даже от страха как-то отстранился, заиндевел.

— Попить дай, слышь!

— Вон родник, пей сколько хочешь, а мне бабушка поручила в бидоны... кто после тебя пить будет, — сказал и сам себе не поверил, а потом менее уверенно: — Там родник, пей там.

— Чего ты мне киваешь, знаю, где родник, а я тебе говорю, дай попить!

— Уйди, Сашка, мне бабушка...

Сашка подошёл вплотную так, чтобы особенно была заметна разница в росте.

— Нет, значит?

Толя замотал головой

— А вот так тебе тогда, — и Сашка пнул по бидонам, они опрокинулись, и воду мигом, до капли, впитала жаркая земля. Довольный, хохоча и вприпрыжку, Сашка побежал к роднику, а Толя с глазами-стёклышками, ошарашенный, схватил отчего-то кусок шиферу и со всей мощи своей маленькой руки направил вслед обидчику. И именно в тот момент, когда Сашка, заливаясь смехом, обернулся в Толину сторону, шифер рассек ему бровь. Он взвыл, а кровь захлестала, будто не в бровь совсем.

— Ты идиот, ублюдок, чё наделал-то!

Толя смотрел на Сашку и думал, что лишил его глаза, а потом дал дёру. Бидоны валялись на земле, Сашка, подвывая, весь в крови, бежал домой и орал, что убьёт Тольку. А Толя отсиживался в засаде, пока не стемнело. Домой он идти боялся и боялся Сашки, и только бидоны надо было обязательно подобрать, иначе ещё хуже

будет. В темноте он рыскал в поисках бидонов, как услышал очень знакомые голоса, это был отец с бабой Пашей, мама, видимо, ещё не пришла с вечерки.

— Вот ты где, ну-ка пойдём! — отец больно схватил Толю за руку, в предплечии, и не отпустил, и идти так было очень неудобно, отчего Толя постоянно спотыкался, падал, и тогда отец ещё сильнее дергал его за руку.

— Тама бидоны, надо взять, — пропищал еле-еле.

— Срал я на твои бидоны, пшли, щас вот мать придёт, будет тебе!

Дома пахло свежей клубникой, на кухне в эмалированном тазу лежали отборные чудные ягоды, баба Дуся занималась ими, собиралась варить из них варенье. Тут Толя вспомнил, что сегодня он только завтракал, и ещё вспомнил, что в этом году ни разочку не ел клубники, и сглотнул слюну.

— Так и будешь в проходе стоять, уйди с глаз, — отец.

Толя ушёл в свою комнату и решил притвориться спящим, на случай, когда придёт мама и начнётся эта долгожданная расправа. По всей квартире вместе с запахом клубники витало ожидание, повисло ожидание, когда придёт мама.

Мама пришла скоро, никто не стал церемониться с Толей, никто даже не посмотрел, спит ли он, а просто включили свет и приказали — а ну-ка пошли!

— Что же, Толя, ты творишь, — затянула опять. Мама Аня. — Ты же ведь чуть без глаза парня не оставил, ты же ведь не думаешь никогда... М? На меня посмотри! И тебя посадят в тюрьму, да, посадят, не сейчас, потом, может случиться, если не будешь головой своей сообщать!

— Не посадят, детей не садят! — Толя.

— Посадят, посадят, я лично попрошу.

Толя молчал и не мог поверить, что мама способна так поступить, попросить лично!

— Тебе стыдно? Молчишь-то чего?

— Не стыдно... и не стыдно, и в тюрьму не посадят, а ты, ты... ты вообще отстань от меня, я не боюсь тебя, не боюсь, поняла? и не стыдно... И вообще... и ты не мама! Я бабушек люблю, а тебя я не знаю! — и он бледнел от страха, от потока своих же откровений, а отец схватил ремень и гонялся за ним по квартире и настиг его в ванной и тщательно побил за маму.

И всё в тот день было не так, и с того дня всё стало не так. Толя сидел у себя в комнате в ти-

шине, на полу, вначале рыдал, но не так, чтобы все слышали, а наоборот, давился слезами, скрипел зубами и тихо-тихо шмыгал носом. А в другой комнате слышно было, как плачет мама, а отец, уставший её утешать, ушёл на кухню. Бабушек было не слышно, наверное, они, чувствуя свою вину за то, что, как выяснилось, только они и любимы, быстро ретировались куда-то.

А Толя вдруг в первый раз понял, что маму он совсем не знает, а папа, отец, скорее какой-то случайный ему человек, к которому он ничего не чувствует, как, впрочем, и со стороны отца было аналогичное. Утром остались только бабушки, он их не боялся и уже мог спокойно выйти из комнаты. Баба Паша сделала вид, что ничего не произошло, стоговила ему завтрак. А баба Дуся сообщнически поглядывала, но потом всё-таки не выдержала и сказала:

— Ты правильно, что так с этим Колтышевым... Надо на место ставить! А то ведь я знаю, от него вам совсем житья не было, затюкал ведь в доску, головожопый. Я с его матерью вчера уж говорила, он к тебе не полезет больше, но и ты его не задирай, понял?

— Да, бабочка, спасибо тебе, бабочка, — ласковый внук.

— Ну-у, иди вон, умойся сперва.

19. Конфета

АНДРЕЙ МНОГО времени проводил в гараже, иногда чинил машину, а чаще всего делал что-то из мебели. Он сам смастерил большую стенку с сервантом, а дверцы украсил золотыми узорами из каких-то тоненьких металлических прутиков, было красиво, сделал под стать кровать, стулья, шкафов кучу и всё в одном неповторимом собственном стиле, обязательно с металлическими прутьями. Он занимался фотографией и любил делать альбомы, сопел, усердно прорезал картон бритвой, вставлял туда фотографии, по хронологии, чтоб везде порядок. Края у фотографий он всегда обрезал специальными ножницами, и они становились резными, края. Книги читал все, которые только можно было достать, без разбору, и всегда любил вначале подписывать, чтобы никто уже себе не присвоил. Всё вёл свой дневник и, выпивши, читал вслух маленькому Толе, читал и горячими слезами обливался, как пришёл он с флота, а батя на порог не пустил, и пошёл он куда глаза глядят, гол как сокол. Потом Нюра не выдержала и велела сжечь все эти горемычные труды, чтоб

неповадно было ими мучить ребёнка, и Андрей сжёг.

Несмотря на обидное детство, он не старался восполнить недостающую ему любовь. Детей он не воспринимал, и вообще, слёзы и чувства были в нём только по праздникам, когда выпивал. С Надей общался ровно, она называла его папой, но, по сути, он был за компанию, за компанию с мамой, с бабушками, его, как отдельную единицу, она не воспринимала. С ней он был ни плохим, ни хорошим, никаким, оттого и никогда они не ссорились, хотя Надя ругалась почти со всеми.

С Толей он тоже был холоден, но всегда был готов проучить, если мальчик говорил что-то нелицеприятное в адрес матери.

Была зима, снежно-снежно, и солнце. Славное утро, и Толя даже боялся встать с кровати, чтобы не нарушить это ощущение праздника. Из кухни, где возились бабушки, пахло чём-то вкусно-ванильным, необъяснимым больше, уютном. И от голосов бабушек, звона кастрюль, от включенного телевизора в большой комнате и пушистого января за окном жизнь становилась такая понятная, что даже в слова не обернуть, настолько. А ещё случилась забавная вещь, чудесная вещь: Толе снилась большущая конфета, и отчего-то он точно знал, что сон, и схватил конфету так крепко-накрепко, чтобы она проснулась вместе с ним, а когда открыл глаза, как-то же было, когда в руках у него оказалась та самая конфета. Волшебная конфета.

В комнату зашёл отец.

— Папка, гляди-ка, из сна вытащил! — и руку с конфетой протягивает.

— Понятно, — и ни сколочко не удивился. — Толь, ты давай завтракай по-быстрому, если хочешь в сад со мной съездить, хочешь?

— Ага.

— Давай тогда пошустрее там.

— Я щас, щас, — и Толя даже не одел тапки, босиком, в трусах и майке, по холодному полу, всё равно: — Бабочки мои, глядите-ка, конфета... я её сам... я её из сна схватил так крепко, и получилось, представляете себе?

— Да ты что, вот ведь как! — бабушки смеются. — Есть садись.

— Я не хочу-у...

— Ешь, а то куда не пойдёшь сегодня

— Ну-у, что там у вас?

— Овсянка, сэр.

— А пахнет другим, вкуснее

— Это для вечера, сегодня у папы день рождения, гости придут, так что... для вечера.

— Ла-адно, давайте сюда овсянку.

Машина была на летней резине, поэтому Толя с отцом поехали на электричке. Вышли прямо посреди леса. И ещё минут двадцать шли до сада. Домики все почти по окнам завалило снегом — никто не бывал там с лета, и только небольшая тропинка шла в сторону домика дежурного сторожа. Залаяла собака, на лай вышел пьяненький мужичонка — «куда идём?», отец показал пропуск, и им разрешено было войти.

Отец сразу принялся за дело, затопил печь, а пока дом прогревался, расчистил окрестности.

— Пап, а зачем мы тут?

— Вот надо тебе всё знать, ведь не просто снег грести! Приехали, значит — надо!

Когда в доме потеплело и можно было уже снять шубу, отец стал усердно собирать на стол. В яме оказались с лета ещё консервированные огурцы-помидоры, картошка в мундире уже была готова, пахло вкусно, но Толя недоумевал, неужели они пришли сюда только за тем, чтоб поесть и уйти? А отец, закатав рукава, с каким-то радостным и таинственным видом рылся в карманах тулупа, а потом достал оттуда прилично пузатую бутылку «Зубровки» и лимонада для Толи.

По радио что-то монотонно читали, кажется, Тургенева, отец, раскрасневшийся и довольный, с аппетитом закусывал, а Толе было скучно, он допивал свой лимонад, листал прошлогодние выпуски «Юного натуралиста» и хотел домой. Уже прилично стемнело, а отец вроде и не собирался уходить, и Толя начал беспокоиться.

— Пап, пойдём домой? Там, наверное, скоро Лейкины придут, гости, а?

Тогда отец, отчаянно выдохнув, мигом допил оставшееся.

— Вот теперь пошли!

На морозе отца прилично развезло, он уже не мог идти ровно и выписывал какие-то невообразимые линии. Тропинку за день занесло, и дорога к станции стала ещё более узка. По обочинам снега насыпало выше самого Толи, и отец, когда вот-вот уже собирался упасть, наваливался спиной к краям обочины, тяжело дышал, а потом снова сосредоточенно и угрюмо двигался к цели. Толя боялся, что если сейчас отец упадёт, то он не сможет его поднять и их заметёт навсегда, а ещё он боялся опоздать на электричку и от этого суетился вокруг отца, стараясь направить его как можно прямее.

— Поторопимся, папочка, ну давай же, ну пожалуйста, ну родненький! — причитал Толя.

Отец, словно не слышал, словно вообще не понимал языка, иноземец, и был так сосредоточен на ходьбе, что, наверное, если б он ответил

Толе, то миг бы потерял координацию и непонравимо свалился бы.

Но они дошли до станции даже немного раньше, чем пришла электричка, и уже когда подъезжали к Свердловску, отец посвящал Толю в тайны рыбной ловли, а когда они пришли домой, он уже казался слегка навеселе, но не больше.

Взрослые остались праздновать, а Толю отравили греться в ванной и спать. Такое многообещающее утро и такой бездарный конец дня. Но самое обидное было не в этом, а в том, что на столе он увидел такие же самые конфеты, точь-в-точь как волшебная, в голубом фантике, большие-пребольшие, неужели?!.

20. Дедерон, дедерон!

НАЧАЛЬНИК ВЫЗВАЛ Витю и Расторгуева к себе за хулиганство, они все время над кем-нибудь подшучивали, и на этот раз что-то натворили в столовой во время обеденного перерыва. Но выговор им делать начальник не хотел, потому что работники хорошие, стандарты все на глаз знали, и выходило идеально, а Витя вдобавок выступал за завод на соревнованиях, первые места получал, самый лучший спортсмен. У него было могучее тело, сплошные мускулы, каждую из которых он тренировал отдельно, чтобы добиться идеальности в пропорциях. Помимо того, он занимался боксом, футболил, зимой ходил на лыжах, с середины весны до какого-то там сентября, в общем пока совсем минус не наступит, он плавал.

Тогда-то, в приёмной начальника, Витя и Расторгуев влюбились в молоденькую секретаршу Надю. Потом замечали её в компаниях, подходили, заговаривали, она смеялась. Долго мучится выбором не пришлось, Расторгуев хоть и весёлый, но скоро лето, пляжи, и с таким спортсменом, как Витя, Надя будет смотреться намного выгоднее, они стали встречаться. Витя был робок с Надей, ей нравилось, что она может вызывать такую уязвимость в могучем спортсмене. У них, как оказалось, было много общих друзей, ходили с гитарами, ходили в кино, всё по списку. Надя не прогадала с пляжем, когда начался сезон, Витя, точно Аполлон, расхаживал по берегу, а потом нырял головой вниз с высоких сизых скал, нырял и солдатиком, даже с моста, с перил скользких нырял, и все рты раскрывали, и все завидовали, и долго провожали их взглядами.

Бабушкам и маме Нюре Витя не нравился, по ним он был глуп, он не мог поддержать раз-

говор, некоторые принимали это за скромность, его молчание, но это было далеко не так. Говорил трудно, обрывисто, мучительно складывая в предложения незатейливые комбинации мыслей.

К осени романтики поубавилось, Витя перестал так жадно искать встреч с Надеей, а когда приходил, то обычнее всего навеселе. Надя решила, что надо брать его в обороты как можно скорее, и уже зимою он назначил ей встречу у магазина «Сюрприз», и было так холодно, что у Нади отмёрзли ноги, пока она добиралась до места в своих нетёплых демисезонных, но с каблуками. Витя уже ждал её, подарил ей обмороженный букетик гвоздик и подарил дефицитные дедероновые чулки, как факт, зафиксировавший между ними интимную связь, а потом позвал её к себе домой и познакомил с родителями. Вскоре-вскоре они расписались, стали жить вместе с Надиной семьёй. Спали в большой комнате, на диване, в соседней комнате спал Толя и баба Паша, а в другой комнате, что была ещё поменьше, Анна Фадеевна и Андрей Иванович. Баба Дуся спала в кладовке. Когда родился маленький Игорёша, Толю пришлось потеснить. Он перебрался в спальню родителей, баба Паша — в большую комнату, а молодожены с дитём переселились в Толину.

Игорёша был мальчик кукольный, вскоре кудрявый-кудрявый, с глазами большими, любопытными, смешливыми. Бабушки с ним водились, как и заведено, больше мамы. Мама Надя хотела девочку, но Игорёшей тоже была вполне довольна, хотя ей и трудно давалось учиться следить за кем-то, помимо себя. Надя долго боялась брать Игорёшу на руки, боялась уронить, почти не дышала на него.

А через два года им дали квартиру, и они съехали, вполне себе самостоятельная ячейка общества.

21. Радиолюбители

СЛАВКА ДОЛГО таился, улыбался и веснушки рассыпались по лицу, озорник. Где он только не лазил, а в этот раз по глазам было видно — что-то таит.

— Гляди сюда, Толька, смотри чего, — и из-за пазухи вытащил маленького крольчонка.

— Ух ты-ы! Дай подержать?

— Держи, аккуратно только.

— Где взял-то?

— Да-а у бабушки в деревне был, там таких много, — соврал Славка, на самом деле он

стащил кролика, он вообще часто приворовывал.

Кролик усиленно шевелил носом по Толиной ладони и удивлённо глядел глазами-бусинами, вот бы такого!

— Чего хочешь за него?

Славка подумал-подумал:

— Перочинный свой отдашь?

— Да бери, запросто, — и Толя с лёгкостью отдал ножичек, подаренный ему отцом.

Дома Толя сказал, что нашёл крольчонка в сквере, а через какое-то время поделился, что потерял где-то отцовский подарок.

Кролик стал жить на балконе, кормили ботвой, листьями одуванчиков, капустой, морковью, яблоки иногда ел, он быстро вырос в огромного крола, стал забиваться в углы, грустить, думали болеет, но знающая Прасковья сказала, что ему всего лишь нужна крольчиха. Всего лишь. И теперь она будет нужна ему постоянно, это не кот, но не заводите же ещё и крольчиху? Случилось это в один день. Толя пришёл со школы, а баба Паша что-то вкусно готовила. Жаркое. Жаркое?! Кролика приготовили. Говорили, что мясо было отменное, нежное, сами выращивали. Толя не проглотил ни кусочка, Толя безутешно беспризорничал по водной станции и ненавидел этих злодеев, наслаждающихся мясом самого дорогого существа, такого доброго безобидного кролика.

Со Славкой они часто беспризорничали на радиозаводской свалке, теперь с ними дружил ещё и Вовка Сеничев, четвероклассник, правда, второй год подряд, он научил их собирать радиоприёмники. На свалке радиоотходов ребята искали разные транзисторы, микросхемы, и они уже прилично во всём этом разбирались. Иногда малышня прибежала к Пашке в класс на большой перемене. Обычно, даже просто так, от нечего делать. А пойдём к Пашке в школу? А пойдём. И шли, и ещё гордились, что с таким взрослым дружбу водят. А Пашка злился, ведь его одноклассники смеялись: «Иди, Пашка, к тебе вон твой детсад пришёл опять!»

— Чего пришли?

— Да это, так, я вон какой вчера нашел, — и Толя показал какую-то радиофигульку.

— Ну-ка, ну-ка, о, да это хороший!

— А то! Пойдёшь сядня с нами?

— Не-ет, я маме обещал дома прибираться, не пустит, завтра давай.

— Давай завтра, мы и завтра пойдём, да, Славка?

— Пойдём-пойдём.

Пашка Сеничев жил в соседнем с Толей подъезде, так же на четвёртом этаже, совсем прямо от него через стенку. А когда они подросли, то провёли между друг другом своё собственное радио, не совсем радио, но что-то такое. Утром выйдут на балконы, привет-привет, включи «битлов», Толька. Толька включит ему битлов, персонально, звучало у Пашки, это не через стенку звук, это была инновация Толи. Тогда ему было уже пятнадцать.

22. Пластинки

КОГДА ТОЛЯ подрос ещё, он стал не любить на-сад, любить рок-н-ролл, джаз, Запад, джинсы, пластинки-пластинки-пластинки. Родители это изменение заметили не сразу, а тогда, когда Толя купил с первой зарплаты джинсы-клёш и нашёл на них какие-то тряпки — туз пик, дама червей, что-то непозволительное. Потом он ездил в Москву за супердорогими, но стоящими того японскими колонками «Sansui», потом прикупил качественный и совсем нерусский усилитель, эквалайзер, и всё соответствующее приметам времени, кресло огромное, зелёное, вращающееся, и пластинки-пласинки-пластинки. За редкими — он ездил в Москву, Питер, весь свердловский андеграунд знал его, ведь у Толи имелись любые записи, любые музыки самых разных жанров, самых разных стран мира. Он ненавидел Союз, и тождественно для него было понятие России, и родины, и дебилизма, и непроходимой тупости. Он не был патриотом, как того желали воспитатели поколения, как были его родители. Они считали себя патриотами так в крови, что даже не задумывались об этом, как что-то давно прожёванное и проглоченное в детстве, как то, где уже давно растут виноградные сады, мхом поросшие, а как можно иначе, — сами мы жевать не умеем, в детстве. Потому и нельзя беззубых лялек кормить тяжёлой пищей, только пить, только пить, обгонять ход времени, и времени созревания, и времени созревания мысли, и души, нельзя, ибо это чревато в лучшем случае незнанием и глупостью, а в худшем...

Эта разница поколений была заметна даже в просмотре советских фильмов про войну. Андрей Иванович и Анна Фадеевна переживали за советских разведчиков, Толя же был за немцев, а если про гражданскую — конечно, за «белых» подлецов. Бабушки, Прасковья и Евдокия, оставались самыми аполитичными в этом противостоянии поколений, им бы то хорошо, где Крючков да Орлова, вечно любимая, а из но-

вых, ну почти новых, ну, Тамара Макарова, уж больно хороша, любо-дорого поглядеть, а про войну фильмы вообще их не интересовали, тем более про гражданскую, по горло хватило вживую.

Толя мечтал уехать в Америку и иметь свою радиостанцию или студию грамзаписи или только уехать в Америку. Но он работал на секретном заводе, радиозаводе, и был безвыездный. Толя дружил с Клаусом из дружественный ГДР, Клаус приехал по обмену опытом, и какого было удивление Толи, что этот немец так же, как и он, любит западную музыку вопреки режиму, немец и вопреки! Ведь уж куда как проще этим немцам. Клаус заказывал сестре высылать редкие в Союзе пластинки, у Толи даже был список, и сестра послушно отправляла. Среди них было много свинга, первого негритянского джаза, а ещё музыка из коллекции американского «20th Century FOX», но немецкого производства. Эти пластинки отличались от советских. Некоторые из них были неновыми и были довольно увесисты, но в то же время значительно прочнее своих советских аналогов, а на свету чёрный винил переливался фиолетово-зелёными тонами, чего совсем не было заметно на отечественном виниле.

За Толей была установлена слежка, а вскоре чёрная «Волга» ему сообщила, что если он дорожит работой и вообще не хочет лишних проблем, то должен свести на ноль общение с немецким товарищем, а где-то в личном деле его уже забраковали печатью неблагонадёжности. В свою очередь и Клаусу пригрозили тем, что он не сможет вернуться на родину, если будет дальше развращать советских граждан инакомыслями, а потом и вообще отправили обратно, где родился, там и.

Славка Колтышев работал грузчиком и много пил. Его брат Сашка присоединился к старшему брату и теперь тоже сидел в тюрьме, вор. Кадочников стал каким-то большим начальником, он давно уехал из Свердловска, в Кемерово или в Красноярск, куда-то дальше ещё, женился, размножился дочерью, вроде бы очень любил.

Прасковья часто болела, часто сердце, тихо болела, не жаловалась, только когда одна была в комнате, тяжело дышала, с голосом, а чаще дежалась.

Толя ощущал себя настоящим диссидентом, в том числе и в собственной семье. Отца он редко называл отцом, папой, чаще Андрюшей или Андрюшей Питерским, из фильма какого-то. А отец звал его Обломовым, за то, что не помо-

гал в хозяйстве, — есть по кому! На мать Толя был обижен за своё детство, за её невнимание, за то, что теперь больше про Наденьку печётся. Бабочек своих любил, но считал их мысли безнадёжно устаревшими. А вообще, он, как и многие другие ребята, в пору максимализма, юношеского диссидентства, был резок и зол, молодой и колючий, ёжик.

23. День рождения

— **ТОЛЕНЬКА, МАЛЬЧИК** мой, ну сделай потише, ради Христа? — просила Прасковья.

Но дверь комнаты захлопывалась и тише не становилось. А Прасковья лежала на диване в большой комнате, проходной комнате, и тихо-тихо переставала быть живой. Нюра работала допоздна, она проверяла трансформаторные будки и разные штуки под напряжением, и так не высыпалась, и мать требовала ухода, и все нервы, и она попала под напряжение, ничего, выжила, только руки иногда стали трястись сами собой.

— И когда это кончится! Выруби, Толька, или разломаю всё к едрене-фене! — Анна Фадеевна — Толе. — Сколько ж можно, бабушка умирает, а ты музыку гоняешь, издеваешься, садист проклятый!

— Да она уже который год умирает, это специально. Думает, я тише сделаю.

— И сделаешь!

— Неа.

— Разнесу, гад такой! Выруби сказала! За наш счет живёшь, накопил этой хрени, а сам только на трусы себе заработал, захочу — разломаю, мои денежки вбуханы в гробины эти.

— Это колонки, мам, понимаешь, ко-лон-ки.

— ...И отцовские денежки! — продолжала Анна Фадеевна. — Я каждую копейку берегу, в две смены, и отец... работы не было, он в Тагил поехал, свинец варить, шас полипы какие-то — последствия, и всё, только чтобы не в бедности, чтобы тебе помогать, Наде, а ты, неблагодарный, ты, Толька... Да кто ж с тобой таким жить-то будет! С тобой только чёрту жить!

— Выгоняешь меня, мама? С Надькой, так с той и сейчас как с маленькой носишься, а меня для тебя как не было ни в детстве, ни сейчас... я для тебя — пустое место, ну, вот, разве что как нарыв, такое же нужное, да мам? Наденька, бедная, у Наденьки денежек нет, кушать нет, Игорёшеньке кушать нет, папа у Игорёшеньки пьянствует, а мама у Игорёшеньки блядствует,

зарплату всю на духи французские, бельё прибалтийское, тряпки, брошки, бусики, а что, Наде так можно, мама всегда и денег ей даст, и поддержит, и пожалеет. Да, ты сама, Наденька, хорошая, хорошая, только блядь, но я тебя поддерживаю, а Витька говно, и как же тебе живётся-то с ним, бедная моя! Вот так ты её поддерживаешь, мам!

— Ах ты, сучёнышь, язык тебе развязали! Да ты ни разу в жизни битым не ходил, а она, маковка, каждую неделю с новой шишкой, эта скотина по-пьяне оттдубасит, а потом, видите ли, не помнит.

— Да он её раз толкнёт, а она уже и взвояется, будто на жизнь её покушаются. Чего я, Надьку не знаю, что ли?

— Не тебе судить сестру, ты и доли того не прожил, что она перенесла!

— Ага, аборт, две попытки самоубийства на почве неразделённого ложа, приведение своего мужа в состояние беспробудного пьянства, — поживи-ка с такое, что ещё? А, ну и конечно, отчаянное блядоходство, я ничего не забыл?

Анна Фадеевна с размаху дала ему большую пощёчину, на что Толя только расхохотался, хотя щека горела пуще пламени.

— Ань, иди-ка, — тихо позвала Прасковья, и Анна Фадеевна ушла.

Возле дивана у Прасковьи теперь всегда стояла металлическая большая кружка и ложка, и, когда ей что-то было нужно, она ими стучала, голоса не хватало, когда-то свечи гасли — голос, а теперь — не хватало. Врачи сказали, что осталось только доживать, можно и дома, слишком возраст.

Это было перед Надиным днём рождения.

— Как дела, баб Паш? — Надя

— Пока не родила, — шутит ещё, — а вообще, сил больше нет терпеть, так сердце, вас мучить всех, Аню особенно.

— Мам, живи ты, мам, куда я без тебя, — будто утешала Анна Фадеевна, руку материну теребила, всё теребила, манжеты на рукавах, и в окно смотрела.

— Да я знаю, Нюр, всё уже, не хочу даже, пожила и... я ведь не боюсь, я ведь всегда верила... не знаю, как получилось, но старалась жить честно, теперь вам молодым...

— Ну, что ты!

— Дуся вот с вами будет, а я... нет больше сил, Анюта, нет уже, — улыбается даже, будто забыла, что так не делают, когда говорят подобное.

— Баб Паш, у меня день рождение завтра, потерпи ты ещё, не завтра, потерпи, ладно? — про-сила Надя.

— Потерплю, потерплю... день рождения...

Она умерла тихо, под утро, на следующий день после Надиного дня рождения.

Так умерла эпоха. Так говорят всегда. Но лучшего нет. Такого точного. Такая вымученная, кровью слепленная эпоха, но не было её уютней, потому что все эпохи меркли перед красными огнями её тиары, и только она, только она могла родить себе алмазных гениев, несчастливцев, но чутких, чутких! Только она. Печальница, но с музыкой, и всё она старалась заполнить собою, чтобы не было нигде пустоты, ни в ком — пустоты, и все её старались запомнить, но ни у кого не было столь долгой памяти. Только хорошее, только ничего. Она сочилась из их глаз, они копошились в ней, будущие жильцы, кто они? Кто они ей? Она была пылью на их одежде, сидела молюю в шкафах на старых лисьих воротниках, она пела хрусталём, в оперном зале, подпевая Аиде, она стучала Шостаковичу дьявольскую капель в Ленинградской симфонии, она подкрадывалась из-за угла с ножом за прекрасным певцом, и отдыхала на тонких шелках простыней в будуарах Берии, и тихо плясала ярим огнём в зрачках кремлёвских вождей, в их трубках, мавзолеях, серых шинелях. А потом она стелилась вдоль полей, где колосками мерились целые судьбы, и, ошалевшая, рвала снарядами тела врагов, своих тела, и из них же кровью, с орденами в землю, и в братских могилах — и там теплилась она. И салютовала в победу, и была долгожданной коркой, сгоревшей нарочно на старом складе, и тем, кто её не съел и умер, тоже была она.

А на тех советских пластинках она пела губами Вертинского, голосом Утёсова и Бернеса, и Левитан — тоже говорил её голосом, и треск помех межгорода, так славно звенел её отголосками. «Красной Москвой» на платочках заводских женщин, в крепдешинových платьях и кримпленовых юбочках, в туфлях-лодочках, смешных и таких стильных уже фуражках, веннами в пожилых руках, она только доживала. И трогательные фильмы, в которых так странно говорят, так уже неестественно говорят, и памятные названия городов, улиц, людей, старух уже, старух по имени Владлена — всё только прах.

Это конец. Дальше то, что почти не она, не она, не она... И как ждать, когда нет уже. И те,

кто был с ней, кто её пережили занимались теперь сосредоточенным и беспросветным доживанием.

24. Новый год

АННА ФАДЕЕВНА много гуляет, потому что Надя свирепствует, потому что Игорь свирепствует, потому что это цепь. И отчего же чем старее она стала, становится каждый день, тем больше, тем дальше она уходит памятью вглубь жизни, к детству, и чем дальше, тем беспомощнее, и вот уже совсем в утробе, и только бы исчезнуть — вот так, чтоб не помнить ничего, и хорошего тоже. Только бы не этот непокой.

Надя пролежала в психушке, и ей стало так же, так же как было. За всю жизнь она три раза пыталась покончить с собой. Вены, поезд и таблетки. Вены резала из-за Кадочникова, тогда он приехал к родителям в гости, встретил её и ещё сказал, что очень. А она — ему: «А у меня сын... и муж... и вообще, всего хорошего!» А потом вены резала. Резала неправильно, но шрамы остались. Потом из-за мужа Вити под поезд пошла бросаться, напару со своей собакой Белочкой, но собаку стало жалко, куда она без хозяйки, и Надя передумала. Таблетками травилась, уже когда жила с Анной Фадеевной, желудок промыли, а таблетки Анна Фадеевна куда-то запрятала и сказала: если Надя умрёт, то и она тоже, так что пусть будут.

Кадочников умер нелепо, выпил спирту, случайно — метилового. Около тридцати лет было. И Надя тогда не знала, зачем ей быть, и почему-то никогда никого так не ждала, и почему-то тогда сама ушла, в их последнюю встречу. А теперь тоже доживать, тоже — эпоха, её персональная, неповторимая, пусть дуры. Совсем перед психушкой у неё случилось странное, она этого не помнит. Она проснулась и сразу была не собой. Она рылась в кладовке в сундуке, в нафталине.

— Ты чего, Надя, ищешь? — Анна Фадеевна.

— Платок.

— Какой ещё платок?

— Чёрный, траур ведь, надо, чтоб чёрный.

— Какой траур, Надя, ты чего?

Надя внимательно посмотрела на мать:

— А ты кто?

—

Потом она одела чёрный платок на голову, достала пылесос и начала убираться. Потом она выстригала силуэт Николы Чудотворца из кар-

тонной иконки, потом смотрела вниз, в окно, и говорила, что там лестница, что надо обязательно спуститься. И никого не узнавала. Тогда Анна Фадеевна вызвала неотложку. Врачи сказали, что от стресса, что-то прокапали, и через месяц Надя была собой, злопамятной и вечно недовольной, хотя бы так.

Этим августом Анна Фадеевна ездила с Толей в Корюково, дом был заколочен, и не пройти — сплошь трава. Деревня вымерла окончательно, дачников не было, бывшее здание сельпо снова увенчивал триколор, и белым-белым были когда-то покрашены эти стены, нынче облупленные. А в администрации как всегда всё напутали в бумагах, памятники неверно подписаны, у постамента героям гражданской войны только что фамилия и правильно, а имя Николай стоит, а в героях отечественной числится Медведевских Фадей, отчего же? Хотя какая разница.

Анна Фадеевна деловито выспрашивала что-то у местных, а Толя сидел в машине и курил. Потом они поехали на старое кладбище к Фадееву и Анатолию, похороненным рядом, цветов не было никаких, торчали только две пластмассовые зелёные палки, так давно уже никто не приходил к ним. Это кладбище вообще было заброшенное, все родственники лежащих, видимо, сами уже где-то лежали. Если бы не сосновый лес, то, скорее всего, трава бы всё затянула, но было чисто, даже ощущалась какая-то нелепая аккуратность. Анна Фадеевна купила два венка, отцу и брату, цветочков по паре штук, тащила от машины венки эти, сама с палочкой, беспомощность, а Толя шкурил и красил оградку.

На обратном пути они завернули в лес, может, грузди, но в основном встречались опята, их Анна Фадеевна и за грибы не считала. Наклоняться ей было трудно, она своей тросточкой шевелила листву, а если встречался гриб, звала Толю.

А потом, когда она уже подходила к машине, нога её подвернулась, и Анна Фадеевна ударилась о дверцу машины, дверцей зажалось среднее пальце руки, и ноготь был синим. И она плакала-плакала, больно, когда ноготь синий.

— Мам, ты чего? — недоумевал Толя, он пошёл позже.

— А, — махнула рукой, а потом вытирала слёзы, которые не вытирались, а как будто размазывались по лицу, как будто она умылась ими.

— Чего у тебя с пальцем?

— Да, придавила вот, — и показала ему средний палец.

Толя не выдержал и рассмеялся.

— Ты же мне, мам, фак показала!

— Фак?

И они смеялись безудержно, невпопад, и было уже не очень смешно, и они сели в машину и уехали.

Там, где был похоронен Степан, где Анна Фадеевна так и не бывала, теперь уже стоял торгово-развлекательный комплекс, они проезжали мимо, и сейчас — мимо.

Толя заехал вначале к себе домой, что-то занёс, Анна Фадеевна не стала подниматься, ссылаясь на то, что с её ногами трудно на пятый, но дело было не только в этом, она не хотела причинять неудобства жене Толи, с которой у них не было понимания. Толя вынес ей корзину яблок, чего-то ещё, астр. У Толи была дача, они с женою держали её давно, но Анне Фадеевне не было туда ходу, только гостем, но Анна Фадеевна всегда просила сына привозить с дачи какие-нибудь цветы по сезону. Теперь были астры.

Потом была осень, неприметная, вязкая череда дней. Потом зима. Под самый Новый год у Нади случилось что-то с желудком, и её положили в больницу, а накануне она поссорилась с Витей, из-за чего-то там нелепенького, и, когда её увозили на «скорой», он орал ей вслед: «Ни ногой к тебе, дуре, не приду, навестить даже, больно надо! Ни ногой!» — и забавно горько было, когда через несколько дней у него прихватило сердце на улице, он дошёл до аптеки и попросил вызвать «скорую», и привёзли его в ту же больницу, где была Надя, только в кардиологию, в реанимацию. Он трудно говорил, трудно ел, у него была кишечная непроходимость, давным-давно его, пьяного, очень сильно избивали в вытрезвителе сами же менты, порвали ему кишки тяжёлыми своими ботинками, и теперь у него была эта непроходимость. Он уже давно бросил пить, когда узнал, что слабое сердце, стал заботиться о питании, читал книги про здоровье, цеплялся всеми способами.

Надя часто приходила к нему — её гастроэнтерология была этажом ниже. И Новый год они встречали вместе, в палате, глядя в окно на периодически выскакивающие одиночные петарды.

Анна Фадеевна с того момента, как умер Андрей, никогда не дожидалась курантов в новогодний праздник, она засыпала в девять. А умер он лет пятнадцать как. Ему давали подработку, он согласился, варили свинец, чтобы было не так вредно, все пили водку. Андрей не пил. Пары свинца сделали своё дело. Вначале у него

обнаружили полипы в носу, потом оказалось, что это злокачественная опухоль. Анна Фадеевна боролась за мужа как могла, искала разные методики, особое дыхание, чёрную икру, дефицит такой, доставала, потому что где-то слышала, что при раке обязательно надо чёрной икры. Он ходил на химиотерапию и уже под конец курса почувствовал слабость. Вечером поднялась температура, Андрей думал, что простыл, но Анна Фадеевна всё поняла. Вечером она что-то стирала, и он как ошпаренный выбежал к ней: «Аня, Аня, воздуху нет!» Сел в кресло и умер. И Анна Фадеевна уже не дожидалась курантов.

А в этот Новый год она никак не могла заснуть, она наготовила немного салатов, бутербродов, на двоих, она и Игорь. Игорь выпил водки, чуть-чуть вина, но не бузил, он вообще с ней редко ругался, даже пьяный. Мать, Надю, раньше бил часто. Он ненавидел мать, за то, что она приводила мужчин и спала с ними, когда он был дома, когда отца не было дома, когда ему было двенадцать лет, а потом, повзрослев, и он при ней приводил домой проституток, и она молчала, и он ещё больше её за это ненавидел. Но теперь, когда они стали жить с Анной Фадеевной, Игорь редко поднимал руку на мать, только в крайних случаях, только ударял ладонью.

Смотрели какие-то новогодние передачи, в полночь они выпили шампанского, и это была первая новогодняя полночь за последние пятнадцать лет.

25. Новые обои

В ФЕВРАЛЕ. В феврале Надю уже выписали, Витю тоже. И был какой-то скандал, обычный. Игорь пришёл в подпитьи, Надя лезла на рожон, Анна Фадеевна бежала на подмогу дочери, справедливая, любила всё объяснять в ссоре.

«Да отойди ты, бабка», — и Игорь толкнул её в плечо. Такого удара хватило, чтобы она упала, и что-то оборвалось, или обида так трепетала, так трепетала.

Она чувствовала себя дурно, кажется, болел желудок, гриппом недавно проболела, всё как-то вместе, и ещё она постоянно что-то прокручивала назад — а если бы, — отчего-то стала делать это чаще обычного, и так с тётей Дусей, и Надя права, надо было доходить, надо бы. И ещё приходил сын Маруси-Муסי, сказал — нет уже. И ещё так мало осталось, надо было доходить.

Евдокию частично парализовало, это было почти после Андрея. И она была абсолютно нечеловечна, иногда случались озарения, но так

редко. А в основном она ползала по квартире, постоянно просила есть, постоянно ходила под себя. Потом бабу Дусю сдали в дом престарелых. Ни у кого уже не было сил ходить за нею. Анна Фадеевна часто её навещала. А та всё плакала, жаловалась на медсестёр и всё время заглядывала в глаза, и всё время: «Аня, а когда ты меня заберёшь? Аня-Аня, а когда?»

Иногда она одевалась по-нарядному, волосы на пробор да на гребень: «Аня сегодня меня заберёт, сегодня домой поеду». Анна Фадеевна и вправду уже надумала забрать бабу Дусю домой, но было поздно. В душе баба Дуся поскользнулась и разбила голову, медсёстры были впрямь дурными, недоглядели. А последние часы она всё просилась домой, «к Ане». Но Анна Фадеевна часто думала об этом, особенно сейчас.

Она приготовила холодец, убрала снег с балкона, а потом ей вызвали «скорую». Сердце. Инфаркт недельной давности, тогда, когда Игорь толкнул, и не желудок болел всю неделю, а сердце теряло свою жизнеспособность, и как она ещё ходила.

Ей часто снился чёрный дом, без окон, и двери пропадали, когда она туда входила. Там жила Прасковья, и братья, отца почему-то не было, и они просили остаться, а она, как ошалелая, искала выхода. В самый последний день ей виделись новые обои, во всей квартире всё новые. Она сказала Наде, что наверно из соцзащиты им дадут какое-нибудь жильё, — так они мечтали жить вдвоём, будто всё разрешилось бы --

Когда её хоронили, Витя смотрел из своего окна, он так переживал, что не смог спуститься. На поминках и всю следующую неделю ели этот холодец, который Анна Фадеевна делала из последних сил, себе же на поминки делала. У Вити тоже обои сменились. Он умер вслед, на её девятый день. Но и на его похоронах Надя оплакивала маму.

Это была единственная мебель в доме, которую не смастерил Андрей, — сундук. Он стоял как-то так давно, что даже несмотря на то, что устарел и был жалок, никто не смел выбрасывать члена семьи. До Нади. Смотреть на него, чувствовать запах мамы из его глубин было невыносимо. Вначале она раздала все вещи Анны Фадеевны, где-то на дне сундука лежали ненужные спицы для вязания, клубки, несколько открыток к Первому мая. А когда Надя с Толей

отодвигали старую рухлядь, то обнаружили ветхий портфельчик из грубой и выгоревшей кожи, а там.

В портфельчике были бережно спрятаны запылённые Надей фотографии Степана, те, что удалось собрать. А ещё панорама старого дома в Корюкове, где люди были маленькими ховрошечками, но если хорошенько взглядеться — все узнаваемые, все во всю живые, в застывшем мгновении. И даже Фингал, всегда такой огромный, гора, на этой фотографии казался резвым мышонком, мутным пятном посреди чёрно-белых декораций, все они, кто там были.

Был альбом песен морфлота, странные желтоватого цвета таблетки, аттестат вечерней шко-

лы, ветерану труда, медалки, пустые медалки, дешёвые брошки, которые так много значили, только вот что именно, уже вряд ли можно было узнать. В пакетике из-под молока, чистом, постиранном пакетике, трогательно лежали фронтовые письма Николая, фотография Толя с велосипедом и белоснежным цветком в петлице, а на обороте рукою Анны Фадеевны, только детской ещё: «Нюре от Анатолия» и цветочки-цветочки, ох уж эти девочки! Несколько каких-то заговоров от ячменя, чтобы сон направился, чтобы муж не гулял, и отчего-то пластинки, в почти истлевшем конверте, пластинки. Первое ещё издание Утёсова и поновее — Нина Дорда. Но патефона нет.